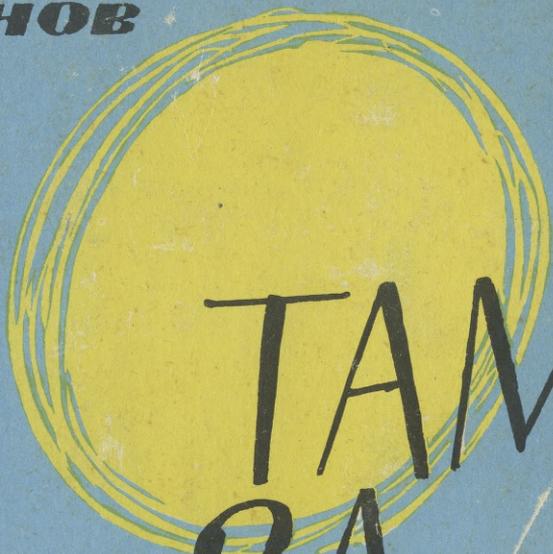


ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ...

Д. ДАР
А. ЕЛЬЯНОВ

А. ЕЛЬЯНОВ

Д. ДАР



ТАМ,
ЗА
ПОВОРО-
ТОМ...



Д. ДАВ
А. ЕЛЪЯНОВ



30000 КМ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
И МОТОЦИКЛАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

1962

32-С
Д-20

Всем, кто гостеприимно открывал перед нами двери своего дома, делился едой и кровом, с благодарностью и уважением посвящаем мы эту книгу.

Авторы

ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Все путешествия обычно совершаются трижды: первый раз — в воображении, второй — в действительности, третий — в воспоминаниях. Каждое из них имеет свои особенности, но все они одинаково увлекательны.

Первое путешествие — это плод свободного творчества. Мы полновластные хозяева пространства и времени; можем отправиться на запад или на восток, на юг или на север, на месяц или на год. Мы придумываем путешествие, как писатель придумывает книгу. Карты расстилают перед нами свои дали. И мы отправляемся в эти дали, сочиняем романтические ночлеги на лесистых берегах рек, представляем себе головоломные перевалы по горным тропам и события на улицах больших невиданных городов.

Но проходит какое-то время, и мы совершаем второе путешествие. Не по мертвым картам, а по живой, смоченной дождями, истоптанной подошвами, суровой и нежной нашей земле. Там, где предполагали провести ночь на берегу реки, нет ни бе-

рега, ни реки, а разлилось море. Вместо каменистой тропы оказывается асфальтовое шоссе. А какая-то деревушка, даже не обозначенная на карте, приготовила нам самое замечательное событие, о котором мы будем вспоминать всю жизнь.

Потом мы возвращаемся домой, и тогда, сидя дома с родственниками, или в гостях у друзей, или наедине со своей записной книжкой, мы совершаем третье путешествие — в воспоминаниях. И это тоже замечательное путешествие, полное неожиданностей и открытий; память сохраняет только самые яркие дни и часы; она уничтожает все будничное, мелкое, неважное. И мы снова отправляемся в путь, который ведет нас по самым интересным местам, к самым забавным приключениям и самым значительным встречам.



**НА
СЧЕТЧИКАХ-
ШЕСТЬ
ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТ-
РОВ**

земля

КТО МЫ ТАКИЕ

Одному из нас уже пятьдесят лет, а другой — вдвое моложе. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы давно и крепко дружим. Да и как бы мы могли не дружить, если все путешествия совершали вместе, и мечтали о них вместе, и готовились к ним, и эту книгу тоже написали вместе.

Когда мы едем вдвоем на велосипедах, или завтракаем на краю придорожной канавы, или ищем ночлега в деревне, у нас нередко спрашивают:

— Папаша и сын?

И мы говорим:

— Да.

А иногда спрашивают:

— Учитель с учеником?

Мы тоже говорим:

— Да.

А другой раз нас принимают за тренера со своим питомцем. И мы не спорим, потому что действительно дружны, как отец с сыном, и старший в самом деле был учителем младшего, а младший уже много лет тренирует старшего во всех видах спорта.

Нам обоим льстит эта дружба. Младшему лестно, что с ним дружит такой пожилой человек, который был на войне, написал несколько книг и прожил дол-

гую и нелегкую жизнь. А старшему тоже лестно, что с ним дружит такой молодой человек, который может пробежать стометровку меньше чем за 12 секунд, разобраться в устройстве любого механизма и готов когда угодно отправиться хоть на край света.

Младший чувствует себя мудрее и опытнее оттого, что он дружит со старшим; а какой же человек в двадцать пять лет не хочет быть мудрее и опытнее? А старший чувствует себя сильнее и моложе оттого, что он дружит с младшим; а какой же человек в пятьдесят лет не хочет быть сильнее и моложе?

КАК МЫ ПОДРУЖИЛИСЬ

Подружились мы давно, когда младший еще носил синюю форменную гимнастерку. Он тогда учился в 63-м ремесленном училище Ленинграда. Он готовился стать слесарем-механиком, а кроме того, хотел еще стать поэтом. Два раза в неделю он приходил в Дом культуры трудовых резервов, где собирался литературно-творческий кружок «Голос юности».

А старший из нас переживал тогда тот критический возраст, который раньше или позже переживает каждый писатель. Он подводил итоги минувших лет. И он пришел к выводу, что за все минувшие годы не написал еще ничего хорошего и даже не научился писать хорошо.

Придя к такому печальному выводу, он сидел дома, раздумывая о том, как бы научиться писать лучше. Вдруг зазвонил телефон, и какой-то робкий голос стал просить его прийти в Дом культуры трудовых резервов, где несколько пятнадцатилетних и шестнадцатилетних поэтов думали о том же самом: как научиться писать лучше?

Старший охотно согласился прийти, потому что раздумывать вместе с кем-нибудь всегда интереснее, чем раздумывать в одиночестве.

Он пришел на занятие кружка и сказал:

— Научить вас хорошо писать я, к сожалению, не могу, потому что и сам еще этому не научился.

А могу я вас научить только тому, что умею сам.

— Что же вы умеете? — спросили ребята.

Он долго думал, а потом сказал:

— Пожалуй, лучше всего я умею удивляться. Удивляться всему, что увижу.

— И всего-то! — воскликнули ребята. — Ну, тогда не только вы нас, но и мы вас можем кое-чему поучить.

Так и договорились. Старший стал учить ребят удивляться всему, что нас окружает: книгам, людям, домам, деревьям. А ребята учили его проходить без билетов на вечера, играть в футбол и ездить на велосипеде.

Проходить без билетов на вечера и играть в футбол старший так и не научился. А ездить на велосипеде научился.

У большинства ребят не было родителей — они погибли во время войны. Некоторые жили в общежитиях, другие — у дальних родственников. Может быть, поэтому кружок заменил ребятам семью. Мы вместе ходили в кино и театр, посещали музеи, справляли дни рождений и не скрывали друг от друга ничего: ни радостей, ни огорчений.

Особенно нам нравилось после занятий всем вместе бродить по городу. Старший очень любит Ленинград и может рассказывать о нем бесконечно. Он водил ребят по таким местам, где они еще не бывали, а если и бывали, то не замечали их. Теперь город открывался им заново, как новая книга. А старшему было радостно смотреть на все их глазами, от этого он тоже как бы открывал для себя все заново и сам становился моложе.

И вдруг оказалось, что раньше мы ходили по городу совсем иначе: просто шли домой или из дому и ничего не видели. А можно ходить так, что каждая улица и каждый дом начинают рассказывать о себе массу интересного. Мы увидели, например, дом, в котором собирались декабристы. Увидели травинку, пробившуюся сквозь трещину в асфальте. Увидели мальчугана в пионерском галстуке и очках, который

сидел на скамейке в Михайловском саду и самозабвенно читал толстенный том энциклопедического словаря.

Мы поняли, что все в мире достойно внимания и удивления, все не так просто, как это кажется. И мы даже такой лозунг придумали: «Смотри и удивляйся!»

СТАРШИЙ СТАНОВИТСЯ МОЛОЖЕ

Младший окончил ремесленное училище и поступил на завод. Слесарями, токарями, фрезеровщиками, плотниками стали и все другие участники нашего литературного кружка. Но по-прежнему два раза в неделю мы собирались вместе в Доме культуры, в круглой гостиной возле библиотеки. И по-прежнему были очень дружны. Рассказывали друг другу обо всем, что с нами случалось, делились мыслями, читали одни и те же книги. И, должно быть, от этих книг не меньше, чем от естественного течения времени, ребята очень быстро выросли. А старший, к сожалению, все больше старел.

Но он старел только до 1955 года. А потом перестал стареть, как это ни странно.

И случилось это вот как.

Была ранняя весна. С мокрого асфальта еще не убрали снежные кучи. Только что прошел первый дождь. С крыш капало. Все вокруг сверкало, искрилось и было каким-то особенно нарядным и свежим.

Старший вышел прогуляться и шел не спеша, покуривая свою трубку, как вдруг его нагнал младший.

Он спрыгнул с велосипеда и сказал:

— Эх, как жаль, что вы не катаетесь на велосипеде! А то мы катались бы вместе!

Он возвращался из загородной поездки, одетый в лыжный костюм, с непокрытой головой, мокрый, грязный и счастливый.

— Когда я сажусь на велосипед и уезжаю куда-нибудь подальше от города, — говорил он, — мне становится так хорошо, что просто не рассказать...

А если еще разогнаться на полную скорость и под тобой асфальт, тогда кажется, что у тебя появляются крылья и что ты отрываешься от земли и как бы летишь над нею к чему-то неизвестному и замечательному. Эх, если бы вы были немножко помоложе!

И от этих слов и еще, должно быть, оттого, что была весна, старшему вдруг очень захотелось стать хоть немножко помоложе и почувствовать, как это можно оторваться от земли и лететь на велосипеде к чему-то неизвестному и замечательному.

И он взялся за руль велосипеда.

Когда-то в детстве и ранней юности он неплохо ездил на велосипеде. Но теперь оказалось, что ему даже не взобраться на велосипед, не перекинуть через седло простреленную на войне ногу, до сих пор начиненную осколками разрывной пули. С помощью младшего он все-таки забрался на велосипед, но не проехал и десяти метров, как почувствовал такую одышку и такое сердцебиение, что, забыв нажимать на педали, думал лишь о том, как бы сделать вдох или выдох. Где уж тут было лететь к чему-то неизвестному и замечательному!

На следующий день младший притащил к нему старый, ржавый велосипед с кривым рулем, порванной цепью и без одного колеса.

— Что это за хлам? — спросил старший.

— Это не хлам, — сказал младший. — Руль мы выбросим. Седло тоже. Колесо все равно придется менять. А рама замечательная. Низенькая и крепкая, как раз такая, какая вам нужна.

С этого дня комната старшего стала похожа на слесарную мастерскую. Книги и рукописи были распиханы по углам. Письменный стол превратился в верстак. Повсюду валялись велосипедные части. С утра до поздней ночи мы были вымазаны машинным маслом и от нас пахло керосином.

Нам помогал наш товарищ по литературному кружку, начинающий киносценарист Алексей Ковалев. Правда, ни одного сценария он тогда еще не написал, но уже прочитал десятки книг о кино, не

пропускал ни одной новой кинокартины и придумал восемь кинодрам и три кинокомедии.

Алексей Ковалев недавно окончил ремесленное училище и теперь был студентом индустриального техникума.

Худощавый, медлительный и молчаливый, похожий на юного Дон Кихота, он усаживался на пол среди разбросанных деталей, раскидывал длинные ноги, брал в руки каждую деталь, долго рассматривал ее со всех сторон, прикладывал к другой детали, пробовал так и эдак, и было невозможно угадать, что он собирается делать.

А через три дня был создан велосипед, какого еще не знал мир. Он был такой низенький, что старший мог забраться на него почти не поднимая ноги. Старший сидел на нем удобно, как в кресле. А загадочный ребристый моторчик, подвешенный к раме между педалями, таил в себе сладостные обещания.

В ближайшее воскресенье мы вытащили нашего уродца на улицу и завели моторчик. Он зафыркал, завыл, и под радостные возгласы собравшихся вокруг мальчишек велосипед закрипел всеми своими креплениями.

Это была наша первая совместная велосипедная поездка. Впереди на своем велосипеде мчался младший, за ним — Алексей Ковалев, потом ревел, пугая прохожих, мотовелосипед старшего, а за нами гналось грязное облачко выхлопных газов.

Так мы проехали город и понеслись по шоссе к морю, к ветру, к шелесту деревьев, к громадному небу, которое встало вокруг нас со всех сторон.

С этих пор каждое воскресенье мы уезжали за город — иногда на день, иногда на несколько дней.

Часто с нами ездили Алексей Ковалев и другие ребята из «Голоса юности». Иногда мы неделями не возвращались домой. Мы побывали в то лето в Пскове, Нарве, Новгороде, Выборге. А следующим летом объездили почти всю Прибалтику.

Мы полюбили струящийся под нами асфальт, мелькающие мимо поля, рощи, проплывающие, как облака, деревни и поселки. Мы полюбили разнообра-

ние случайных ночлегов и неожиданные знакомства с людьми, которые идут и едут по дорогам, сидят в чайных, отдыхают под деревьями, рассказывают о прошлом, мечтают о будущем, встречаясь, желают: «Здравствуйте», прощаясь, говорят: «До свиданья».

МАЛЕНЬКОЕ РЕБРИСТОЕ ЧУДОВИЩЕ

Сидя у костра, недалеко от дороги, возле при-слоненных к дереву велосипедов, или лежа на сено-вале и вглядываясь в звёзды, пронзающие ветхую крышу какого-нибудь сарая, мы мечтали о дальнем плавании по асфальтовым, булыжным и проселочным рекам, о громадной непрочитанной книге, которая могла бы раскрыться нам страница за страницей — каждым своим городом, селом, поворотом дороги.

Но для большого путешествия нам нужно было иметь много свободного времени и хороший моторчик.

У нас не было ни того, ни другого.

Наш моторчик марки «Иртыш» (других велосипедных двигателей тогда в продаже еще не было) оказался капризным и взбалмошным существом.

Он был подвешен так низко, что почти волочился по дороге. Дорожная грязь засыхала между ребрами его цилиндра, набивалась в воздухофильтр, закупоривала жиклер. Рычаг сцепления часто ломался. Чтобы добраться до магнето, надо было разбирать всю каретку велосипеда. Движение от моторчика к заднему колесу передавалось не через цепь, а через резиновый барабан, который вращал колесо. Но если недавно прошел дождь и дорога была мокрой, то барабан лишь скользил по покрышке, а велосипед не двигался с места. Приходилось ждать, пока дорога просохнет. Но когда она просыхала, то нередко оказывалось, что моторчик не заводится. Проверяли жиклер, свечу, подачу бензина. Все было в порядке, а моторчик не заводился.

— Крутите педалями, крутите быстрее, — кричал младший, — еще быстрее, сейчас он заведется!

Старший крутил педалями изо всех сил, он задыхался от одышки и старания; он был уже слепым от застилавшего глаза пота; он приходил в ярость и колотил моторчик ногами, но тот оставался немым и холодным.

Тогда младший клал свой велосипед на дорогу, бежал к старшему и подталкивал упрямого «козла», понукая его криками и угрозами до тех пор, пока сам чуть не падал от изнеможения. А когда оба выбивались из сил и уже не оставалось никаких надежд, что двигатель заведется, маленькое ребристое чудовище вдруг издавало какой-то звериный рык, выпускало струю вонючего дыма и, чуть не сбросив седока на дорогу, устремляло велосипед вперед с такой скоростью, что даже младший на своем спортивном велосипеде догнать его не мог.

Напрасно старший кричал, хватался то за рукоятку газа, то за рычаг сцепления, его «козел» мчался, как ополоумевший, оглашая окрестности танковым гулом и ревом, так что даже степенные грузовики испуганно шарахались в сторону.

Так неслись мы оба, не разбирая дороги, перепрыгивая через камни и рытвины, пока старший не оказывался в канаве, растерянный, грязный и удивленный. Но даже в канаве, лежа на боку, маленькое чудовище еще не хотело смириться. Оно рвалось обратно на дорогу, стремительно вертело колесо, изрыгало вонючий дым и грозным рычанием заглушало отчаянные проклятия старшего.

А младший в это время был еще далеко позади, хотя он изо всех сил нажимал педали, чтобы прибыть вовремя к месту происшествия. Но когда он прибывал к месту происшествия и вытаскивал старшего из-под велосипеда, а велосипед из канавы, то оказывалось, что ребристое чудовище уже остыло и опять ни за что не хочет заводиться.

Все лето мы дрессировали это маленькое строптивое животное, чтобы сделать его пригодным для дальнего путешествия. Но так ничего и не добились. Зато оно выдрессировало нас отлично — воспитало

терпение, упорство и готовность ко всяким непредвиденным злоключениям. Качества, необходимые путешественникам.

Но мы все равно не собрались бы в наше первое большое путешествие, если бы однажды не услышали легенды о Прибылом.

ЛЕГЕНДА О ПРИБЫЛОМ

Осенью 1956 года мы были уже отравлены жадой странствий. Нас манило пространство, влекли еще неизведанные пути, и во всех карманах протирались географические карты.

Как-то мы сидели у дороги, свесив ноги в канаву, курили и предавались отчаянной безнадежности: где уж тут думать о большом путешествии, если опять три часа провозились с моторчиком и вот уже осенний день на исходе, а мы так и не доехали до Волхова и надо возвращаться обратно.

— А ну его к черту, этот моторчик! — вдруг сказал младший. — Лучше бы вы полечились как следует, и мы поехали бы, как все люди, на простых велосипедах, без всяких моторчиков.

— Хорошо, — сказал старший, — только ты найди мне такого доктора, который вылечит меня от лишнего возраста.

— А что ж, — мрачно ответил младший, — сколько угодно таких докторов. Одни лечат женьшенем, другие — медом, третьи — простоквашей... — и он тяжело вздохнул.

Через некоторое время вздохнул и старший.

От наших вздохов веяло полной безнадежностью. С какой-то меланхолической безнадежностью медленно рассеивался над нами табачный дымок. Безнадежность стелилась над одинаковыми бесцветными соснами, которые стояли вдоль дороги, скучные, как палки. Безнадежностью были насыщены унылые тучи, сквозь которые не могли пробиться ни проблеск, ни краска. Безнадежность стелилась вдоль однообраз-

ного и серого шоссе, по которому с нарастающим гулом к нам приближался мотоцикл.

Мотоцикл мчался с большой скоростью. Все ближе и ближе. Вот сейчас он пронесется мимо... Но вдруг мотоцикл затормозил так резко, что его занесло чуть ли не поперек дороги, и светловолосый чубатый парень, упершись ногами в асфальт, поднял на лоб очки-консервы.

— Закурить есть? — спросил он.

Он снял краги, положил их на руль и небрежно взглянул на наш велосипед с моторчиком.

— Как работает?

— Как покойник.

— Это разве двигатель? — сказал парень. — Вот у нас на заводе делают двигатель, так это двигатель! Свободно дает сорок пять — пятьдесят километров в час. Маленький, легкий. Уж он-то не подведет. Мировой дивижок!

Он сел возле нас, свесил ноги в канаву и рассказал легенду о Прибылом.

Где-то на Украине жил в колхозе мальчишка, Филипп Прибылой. Парень он был тихий, скромный и все что-нибудь мастерил. В десять лет он чинил всем колхозникам часы, в двенадцать — сделал себе из спичечного коробка фотоаппарат. В четырнадцать лет захотелось ему иметь велосипед, а денег на велосипед не было. Стал делать велосипед сам. Раму, руль и педали сделал из дерева, колеса поставил железные — от старой сенокосилки, а вместо цепи приспособил ремень. Так и ездил несколько лет. А когда стал работать в колхозе плотником, купил настоящий велосипед. В восемнадцать лет он первый раз в жизни увидел мотоцикл. Решил поставить на свой велосипед двигатель, превратить его в мотовелосипед.

Двадцать лет он делал двигатели для своего велосипеда. Один за другим, один за другим. Его хата превратилась в мастерскую. Соорудил он себе токарный станок и вытачивал на нем детали. Цилиндры отливал в русской печке, в консервной банке. Один раз чуть не обгорел, когда двигатель взорвался. Один

раз лежал в больнице, когда разогнал двигатель, поставленный на велосипед, и оказался в канаве без памяти. А один раз решил показать свое изобретение инженерам.

Сел на велосипед и поехал в Харьков. Двигатель грохотал, как десяток танков, и дымил, как пожар, но зато велосипед несся со скоростью мотоцикла.

Приехал к Харьковскому велосипедному заводу, но зайти на завод не решился. Постоял-постоял и поехал обратно. Его увидел из окна главный инженер завода — он услышал грохот, а потом заметил клубы черного дыма и удаляющийся велосипед с моторчиком небывалой конструкции. Главный инженер сел в машину и погнался за велосипедом. Но Прибылой несся так быстро, что машина насилу его нагнала.

С тех пор Прибылой стал работать на заводе. Там научили его читать чертежи и делать расчеты, помогли ему усовершенствовать его двигатель.

— Вот тебе и колхозник! — с восхищением сказал чубатый парень, докуривая сигарету. — Поручили нашему заводу освоить двигатель Прибылого. Прислали из Харькова образец. Мы сделали точно такой же. Стали его заводить. А он не заводится. Харьковский заводится, а наш нет. Бились, бились — ни в какую! Тогда вызвали в Ленинград Прибылого. Он приехал. Всех стесняется. Посмотрел наш двигатель, говорит: «Ясно, що не заведетя! Вон в моем карбюраторе дирочка!» Наши инженеры спрашивают: «А зачем она? Ни в одном карбюраторе таких дырочек нет». — «Та бис ее знает! Тильки без дирочки не заведетя». Пошли в Политехнический институт к специалистам. Те посмеялись: «Ерунда! Никакой дырочки не нужно. Это у него от технической неграмотности». А факт остается фактом: с дырочкой заводится, без дырочки — нет.

И, подивившись такому казусу, парень простился с нами и уехал.

Он уехал, а мы остались. Мы поглядели друг на друга и поняли, что совершилось самое обыкновенное чудо: хотя мы еще ничего не знали о новом мотор-

чике, но уже верили в то, что будущим летом обязательно совершим большое путешествие по нашей стране и однажды явимся на велосипедах в Харьков; разыщем там легендарного Прибылого и скажем ему: «Спасибо!»

И, может быть, оттого, что вечернее солнце пробило серые тучи, а может быть, потому, что мы почувствовали себя счастливыми, все вокруг вдруг изменилось: вдоль нежно-голубоватого асфальта теперь стояли роскошные сосны, окрашенные в красные, фиолетовые и синие цвета, и их кора золотилась и таяла в малиновом воздухе вечернего часа.

Через несколько дней мы пришли на завод, где изготовлялись моторчики конструкции Прибылого. Они назывались: велодвигатели «Д-4». Мы увидели их и сразу влюбились. Они были маленькие, легкие, изящные. И хотя инженеры говорили, что новые двигатели имеют еще много дефектов, недостаточно испытаны и пускаться с ними в дальнейшее путешествие рискованно, но мы уже твердо решили, что без них с завода не уйдем.

НАШИ СМЕШНЫЕ „КОЗЛИКИ“

Свое первое путешествие мы решили совершить в Харьков, чтобы познакомиться с Прибылым.

Готовиться начали еще в разгар зимы: изучали устройство моторчиков, составили подробный маршрут, вычислили возможную скорость велосипедов, наметили места ночлегов и привалов, спорили о том, что нужно взять с собой и как уложить вещи.

Наши комнаты были завалены картами. Карты лежали на столе, на диване, на шкафу. Но нам казалось, что их еще недостаточно, и мы бегали по городу в поисках Курской или Белгородской области.

— Зачем столько карт? — иногда говорил один из нас. — От Ленинграда до Москвы дорога прямая, а дальше тоже не заблудимся.

Но другой и слышать об этом не желал. Какой же путешественник без карты! Это все равно, что солдат без оружия.

Хотя за окнами мела метель и люди ходили в зимних пальто и теплых шапках, но стоило нам склониться над картами, как мы слышали пение птиц, чувствовали запах полевых цветов, видели просторы украинских степей, леса Валдайской возвышенности, берега Волги и Оки.

Новые моторчики мы опробовали на набережной Невы. Был сильный ветер, шел мокрый снег. Прохожие смотрели на нас с удивлением и сочувствием.

Еще асфальт был покрыт наледью, а мы уже совершали тренировочные поездки в Зеленогорск и Пушкин.

Для этих поездок выбиралась погода похуже — метель, ветер, гололедица. Нам хотелось обкатать не только моторчики, но и самих себя.

После первых поездок стали переделывать велосипеды. Подняли рули, опустили седла, заменили рамы, поставили уменьшенные колеса. Между рулем и седлом водрузили мотоциклетные баки для бензина, чтобы в пути реже заправляться горючим.

Велосипеды получились маленькие и пузатые. Увидев их, одни говорили: «Ну и козлы!», другие удивлялись: «Взрослые люди, а на детских велосипедах!», третьи спрашивали: «Это что, велосипеды или мотоциклы?» И все смеялись над нашими уродцами. А мы знали: наши смешные «козлики» — это как раз то, что нам нужно для долгого и, возможно, нелегкого пути.

ПОД ДОЖДЕМ, ПОД БРЕЗЕНТОМ И ПОД ИНСПЕКТОРОМ ГАИ

Трудности начались в первый же день. Тогда еще не было закончено строительство автострады Москва—Ленинград. На девяностом километре мы попали в непроезжие россыпи крупного гравия и рыхлого песка, в котором велосипеды увязали, как в пучине.

В Ленинграде мы думали, что знаем двигатели отлично, но, удаляясь от дома, все больше теряли уверенность в этом. Моторчики стали капризничать. Они то захлебывались, то давали перебой. Мы стали

побаваться их неожиданных выходов, а когда человек боится машины — дело плохо!

На третий день пути выехали из одной деревни рано утром с намерением проехать до вечера не меньше ста пятидесяти километров. Но не успели удалиться и на километр, как один из моторчиков чихнул и заглох. Пришлось остановиться. Мы растянулись на асфальте, покопались в карбюраторе, разобрали магнето. Прошел час, второй, третий — моторчик не работал. Мимо проносились машины и мотоциклы, останавливались сочувствующие, но насмешливые велосипедисты, а мы все еще были на расстоянии километра от деревни и не могли сдвинуться с места.

Часа в два один из нас сказал: «Ничего не получается!» — и с отчаянием бросился ничком на обочину. Но другой с мрачным ожесточением продолжал разбирать и собирать магнето. Часа через два и он сказал: «Ничего не понимаю!» — и тоже бросился ничком на обочину.

Лежали молчаливые и злые. Если бы в тот момент мы хоть раз поглядели друг на друга, то обязательно поссорились бы. И вдруг один воскликнул:

— Бензин-то закрыт!

Вот как бывает, когда человек не доверяет машине. Тогда он уж заранее подозревает ее во всяких каверзах, и ему не приходит в голову, что дело может быть не в машине, а в нем самом.

Мы открыли кран бензобака, и моторчик завелся. Как мы радовались! И как смеялись над собой!

Но радовались и смеялись недолго. Только до тех пор, пока не сели на велосипеды. Тогда оказалось, что теперь не заводится другой моторчик. И все началось сначала.

Когда стемнело, вернулись обратно в деревню и ночевали на том же сеновале, что и накануне.

А утром оба моторчика завелись как ни в чем не бывало. Завелись сразу, с первого оборота колеса. Что было с одним из них, мы так и не знаем до сих пор.

Через некоторое время — новая беда: опять с моторчиками случилось что-то непонятное. То и дело приходилось обогащать или обеднять смесь. В Москву мы приехали, как на конях: от рулей к воздухофильтрам были натянуты ремешки. Мы пользовались ими, как поводьями: если надо увеличить скорость, дергали правый ремешок, если уменьшить — дергали левый. Иначе ехать было невозможно.

Велосипедов с моторчиками тогда еще было мало, а таких, как наши, не было совсем. В Москве на всех перекрестках вокруг нас собирался народ, и мы смущенно объясняли, кто мы, откуда, куда и зачем едем.

В городе нам ночевать было негде. Остановились на туристской базе станции Сходня. Добирались туда по очень крутым подъемам и спускам. Зубчатка на заднем колесе не выдержала резкой смены нагрузок и начала проворачиваться. Моторчик стал работать вхолостую.

Когда попробовали затянуть зубчатку потуже — сорвали резьбу, и тут уж ничего нельзя было сделать без сварщика.

Сварщик нам очень сочувствовал и сработал на совесть. Он приварил зубчатку так, что теперь никто не смог бы ее отодрать.

— Уж будьте спокойны, — сказал он, — никто и никогда!

И мы были спокойны.

Мы были спокойны, даже когда сломалась первая спица. «Беда не велика, — думалось нам, — доедем до привала, заменим». И вот привал. Снимаем колесо — заменить спицу дело привычное. И вдруг, о ужас!.. Оказывается, сделать это невозможно. Мешает приваренная зубчатка. Ее необходимо снять. И тут вспомнились слова доброжелательного сварщика: «Никто и никогда!»

Что делать?

Долго совещались и решили ехать до последней спицы.

Это произошло сразу за Москвой. А перед Подольском сломались еще две спицы. На том же колесе, с той же стороны.

Переложили багаж на другой велосипед и поехали осторожнее. Объезжали каждую рытвину, каждый камень. Через десять-пятнадцать минут останавливались и тревожно осматривали колесо; оно изогнулось и задевало вилку.

Спицы лопались одна за другой. Велосипед вихлял и не слушался руля.

В Серпухове стало ясно, что дальше так ехать невозможно.

Помогли строители газопровода. Они обступили нас, дивясь моторчикам и требуя полного отчета о путешествии. Больше всего их поразили рассказы о Прибыломе. Они привели сварщика. Он был молодой и серьезный.

— Приварено на совесть, — сказал он, — слуть будет нелегко!

Все долго обсуждали, как помочь беде.

Никто не ушел ужинать, а есть после рабочего дня всем сильно хотелось. Сложились, купили колбасы и хлеба и трудились до позднего вечера.

Когда переставили зубчатку и заменили спицы, уже совсем стемнело. Выехали на шоссе. Позади помигивали огоньки папирос. Новые друзья кричали вслед:

— Напишите из Харькова! Привет Прибылому!

Каждый день нас подстерегала какая-нибудь новая неприятность. Недалеко от Орла один из двигателей стал сильно перегреваться. В Курске сломалась передняя вилка. В Белгороде заклинило поршень. Несколько дней подряд шли сильные дожди, было холодно, ехали, закутавшись в плащ-палатки.

На мокрой дороге скользко, как на льду. Из двух двигателей работал только один. И опять, как уже не раз в подобных случаях, исправная машина взяла на буксир неисправную.

Делали мы это так: к багажнику переднего велосипеда привязывали длинный ремень с петлей на

конце. Петлю накидывали на руль другой машины. Обычно это сходило нам с рук. Но тут, на скользкой дороге, задний велосипед упал вместе с седоком.

Один из нас продолжал мчаться вперед, второй волочился по лужам и грязным ухабам, запутавшись в плащ-палатке.

Когда он встал, с него текла вода и отваливались ошметки глины. Как он ругался!..

До Харькова оставалось километров пятнадцать-двадцать. Но, как назло, стал капризничать и другой моторчик.

Дождь лил не переставая. Мы промокли и замерзли. Приближался вечер.

Завидев попутную машину, попросили довести до города.

— Не могу, — сказал шофер, — запрещено. ГАИ поймает — от штрафа не отвертеться.

Один за другим проходили мимо грузовики, но никто не хотел нас подвезти.

Наконец одного шофера уговорили. Он сказал:

— Быстрее лезьте под брезент. И не высовывайтесь!

В кузове стояли ящики и бочки. Сверху они были покрыты брезентом. Мы торопливо втащили в машину наших грязных и мокрых «козликов», забрались сами и поехали.

Под брезентом было темно и душно. Мы сидели, прижавшись друг к другу, замерзшие, усталые и голодные.

Вдруг машина затормозила.

— Подвези-ка! — сказал кто-то шоферу.

— Не могу, товарищ лейтенант, некуда посадить.

— А в кузов?

— Не могу, — сказал шофер, — там иголку некуда сунуть.

— Брось ты, — ответил лейтенант, — я сверху на брезенте пристроюсь.

— Нельзя, — сказал шофер, — приборы везу, стекло раздавите...

Спорили долго. Мы поняли, что лейтенант — ин-

спектор ГАИ. Он был настойчив и все-таки забрался на брезент.

И вот мы почувствовали, что он карабкается по нашим плечам и усаживается на наши головы. Мы не шевелились, затаили дыхание. Машина поехала дальше. Лейтенант устраивался поудобнее. Он уперся в плечо одного и стал ощупывать голову другого, пытаясь понять, что это за прибор. Ему, наверное, показалось, что это очень хрупкий прибор, и он, опасливо отодвинувшись, плотно уселся на наших спинах.

Так мы въехали в Харьков — под дождем, под брезентом и под инспектором ГАИ.

В ГОСТЯХ У ПРИБЫЛОГО

Филипп Александрович Прибылой оказался молчаливым добродушным человеком лет сорока. Он жил в первом этаже многоэтажного общежития, возле Харьковского велосипедного завода.

У дверей его комнаты стояло несколько велосипедов с моторчиками.

Эти велосипеды, как вскоре мы поняли, принадлежали его друзьям-изобретателям, которые каждый вечер приезжали к нему со всего города: кто за советом, кто поделиться новостями, а кто — просто так.

В большой комнате было много народу. В одном углу играли дети Прибылого, маленькие Люба и Саша. Люди они общительные, то и дело со двора к ним прибегали шумные ребяташки. В другом углу комнаты полная черноволосая красавица Матрена Карповна, жена Прибылого, готовила на примусе вкусно пахнувший чесноком украинский борщ и громким певучим голосом рассказывала зашедшей соседке, какие хорошие были сегодня на базаре куры.

Филипп Александрович сидел за столом в синей рабочей спецовке, в кепке, каждую минуту готовый выйти во двор к велосипедам или вернуться к своему

верстаку в экспериментальный цех, где он проводил почти весь день. Стол был покрыт клеенкой. На нем стояли стаканы с остывшим чаем, полная окурков пепельница и лежал маленький листок бумаги с чертежом какой-то детали. Вокруг стола сидели изобретатели.

Один изобретатель был высокий, худой, с остро-конечной бородкой и длинными отвисшими усами. Он изобрел велопропеллер.

Другой — молодой инженер, чистенький, краснощекий, в голубой рубашке с пестрым галстуком. Каждую фразу он начинал со слов: «Извините, пожалуйста». Он изобрел моторное колесо.

Третий — почтенный седенький старичок, похожий на бухгалтера, вышедшего на пенсию. Он пришел посоветоваться по поводу нового способа изготовления велосипедных труб.

А четвертый посетитель ждал своей очереди. Это был солидный мужчина с изрядным брюшком, в шляпе и очках. Никто не знал, что он изобрел. Он хотел открыть это одному Прибылому. А пока тихо ерзал на табурете, крепко сжимая свое изобретение, бережно завернутое в тряпочку.

В такой обстановке мы в первый раз увидели Прибылого.

На следующий день побывали в экспериментальном цехе велозавода. Там Прибылому была отведена маленькая комната с верстаком, испытательным стендом и шкафом, в котором хранились детали велодвигателя и инструменты. Сюда нередко заходили инженеры из конструкторского бюро и заводоуправления, начальники цехов, мастера, рабочие.

Никто не спрашивал, чем Филипп Александрович занимается. Он мог делать все, что считал нужным. Только рассказывали ему о своих затруднениях и просили: «Не подумаешь ли, Филипп Александрович? Может, что-нибудь сообразишь!» И он соображал. То предложит новый способ испытания велоцепей, то необычную конструкцию велосипедной вилки, то приспособления, облегчающие ра-

боту станочников. А вместе с тем он все продолжал совершенствовать велосдвигатель.

Когда мы попросили его рассказать свою биографию, он ответил:

— Да чего там! Лучше посмотрим ваши двигатели!

Он притащил наши велосипеды на завод и стал разбирать моторчики.

Филипп Александрович все делал не спеша: и говорил, и работал, и двигался. Казалось, будто он обдумывал каждое свое движение, даже самое простое — прежде неторопливо подумает, а потом возьмет в руку болтик или отвертку; опять подумает, примерится и опять подумает.

О себе он рассказывал скупо. Больше говорил о главном инженере и директоре, которые раньше всех поверили в его двигатель и помогли сделать промышленный образец.

Только через три дня мы узнали, что Филипп Александрович окончил всего четыре класса сельской школы, а сейчас свободно разбирается в специальной литературе, посвященной двигателям внутреннего сгорания. На пятый день он рассказал, что одно время плотничал, потом был сельским фотографом.

Так, каплю за каплей, вытягивали мы из него разрозненные сведения о его жизни. И только в последний день, накануне отъезда из Харькова, услышали от одного инженера, что сейчас Филипп Александрович обдумывает схему моторчика для воздушного велосипеда. Еще несколько лет назад он сделал модель этого моторчика, и, возможно, недалеко то время, когда над Харьковом поднимется маленький вертолет.

НА СЧЕТЧИКАХ — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Разобрав наши моторчики, Филипп Александрович сказал:

— Они потому капризничали, что плохо отрегу-

лированы. У вас там, в Ленинграде, опыта маловато. А я отрегулирую их как следует, почищу, и можете отправляться хоть на край света.

На край света нам отправляться было незачем, а проехать еще столько же, сколько проехали, мы были не прочь.

Во время этого разговора в цех вошел главный инженер завода.

— А не испытали бы вы наши новые машины? — спросил он. — У них усилены рамы и поставлены амортизирующие вилки. Их надо проверить в дорожных условиях. Хорошо бы поездить по горам.

Наши велосипеды стояли тут же, недалеко от верстака, за которым работал Прибылой. Выглядели они довольно невзрачно. Краска на рамах и вилках стерлась, седла сидели как бы набекрень — косо и лихо, на бензиновых баках — вмятины, на покрышках — заплаты, за багажниками, как хвосты, свисали сыромятные ремешки.

На следующий день мы получили новые велосипеды. Работники экспериментального цеха оборудовали их так, как подсказывал наш опыт, и мы не могли налюбоваться франтоватыми красавцами, которые важно стояли на своих широких шинах, самоуверенно поблескивая никелированными частями.

А в тот угол, где валялись рожки да ножки наших «козликов», мы старались не смотреть. Было такое чувство, будто мы предали их, старых товарищей и верных попутчиков.

«Бедные «козлики»! — думали мы. — Вы достойны славного некролога. Вы перевязаны проволокой и ремешками, ваши седла протерты и позванивают сломанными пружинами, но вы были терпеливы и мужественны, вы делили с нами все трудности, и мы никогда не стыдились вашего невзрачного вида, даже немного гордились им. Мир вашему праху, дорогие «козлики!»»

Из Харькова нас провожал Прибылой вместе со своими друзьями. На всех велосипедах трещали моторчики. Впереди ехал Филипп Александрович,

за ним — мы, потом еще несколько человек, а замыкал кавалькаду маленький, толстенный и грозный усач — начальник пожарной охраны завода.

На пятнадцатом километре от Харькова мы поехали провожающим руки и остались одни. Моторчики работали великолепно. И вдруг мы поняли, что только теперь у нас открылись глаза, что до Харькова мы ничего не видели: ни пейзажей, ни городов, ни людей. Раньше все наше внимание было сосредоточено на моторчиках и велосипедах, только о них мы думали, только за ними следили.

Если у нас спрашивали про Тулу, мы отвечали: как же, помним, там отскочила шестеренка... Курск? Ах, это тот город, где сломалась вилка! Белгород? Его мы не видели совсем, там мы не поднимали глаз от стыда, потому что один ташил на буксире другого.

«Теперь все иначе, — думали мы, — теперь у нас надежные двигатели и велосипеды, и мы будем наслаждаться красотой пейзажей, осматривать города, знакомиться с колхозами».

Так думали мы вечером, в первый день проехав сто восемьдесят километров от Харькова и остановившись на ночлег в чудесной украинской деревушке, где все было, как у Гоголя: луна, белые хатки и высокие серебристые тополя.

Но на следующий день хотелось уже проехать не сто восемьдесят, а двести километров. А еще через день хотелось проехать двести двадцать, потом двести сорок. И этот спортивный азарт положил на обе лопатки все благие намерения. Мы опять почти ничего не видели: ни пейзажей, ни городов, ни людей; все внимание было сосредоточено только на четырех цифрах, неустанно сменяющих друг друга в маленьких окошечках счетчиков.

Мы как бы приросли к седлам и не покидали их с утра до вечера. Останавливались только для того, чтобы поесть и заправиться горючим. Это было как на гонках: Ну, еще десять километров! Ну, еще двадцать!.. Мы пронеслись мимо шахт, городов, совхозов, но запомнился лишь ветер в Донбассе. Он был такой сильный, что почти валил с ног. Мы прильнули

к рулям и, дав полный газ, пробивали ветер, как стену.

Остались позади Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Краснодар. О края шоссе плескалось море хлебов, в садах лежали богатые кубанские станицы, к самой дороге подступали нефтяные вышки, на берегах прудов расположились многоэтажные домики птичьих городков, где по улицам важно шествовали к воде утки и гуси. А мы неслись, не останавливаясь, все вперед и вперед. Еще десять километров! Еще двадцать!..

Дорога от Новороссийска до Сухуми идет по горам, от перевала к перевалу. Она вьется бесконечными петлями и крутыми виражами; иногда выходит к морю — то голубому, то зеленому, то покрытому черными пятнами под белыми облаками, — а потом снова прячется в горных долинах, где только лес, скалы, небо и тишина.

На перевалы взбираешься, как по лестнице. Каждый поворот шоссе — это ступенька. Перед собой все время видишь только маленький участок дороги, а дальше — крутой подъем, поворот и скала, за которой неизвестно что: может быть, обрыв; может быть, встречный грузовик; может быть, новый поворот с еще более крутым подъемом...

Даешь полный газ и разгоняешь машину так, что на вираже она почти ложится набок, и в этот момент надо быстро сбросить газ, определить расстояние до следующего поворота, прислушаться — не гудит ли за ним грузовик, и сразу же снова разогнать машину, и снова подъем, и поворот, и страх, и радость.

А потом начинается спуск. Тогда машину не удержать. Она летит от поворота к повороту все быстрее и быстрее, и вот уже внизу море, санатории, палатки и загорелые туристы, требующие подробного рассказа о нашем путешествии.

Велосипеды оказались отличными. Моторчики, как и обещал Прибылой, работали исправно и слушались малейшего поворота рукоятки газа.

Из Сухуми мы вернулись в Новороссийск, а от-

туда направились в Тамань, куда нас обоих влекло с самого детства, еще с тех пор, как прочитали у Лермонтова это романтическое и загадочное слово.

Тамань увидели в сумерках. Ее белые домики и сады лениво раскинулись вдоль широких пыльных улиц. На другом берегу пролива светились огоньки Керчи. Возле клуба под скрипучие звуки радиолы танцевали парни и девушки.

Ночью мы вышли на берег. Искали то место, где когда-то причалила лодка контрабандиста и со звоном покатились золотая монета. Берег был все такой же — таинственный, молчаливый. Тихо шелестела вода, набегая на камни. Они постукивали друг о друга, будто кололось орехи. Потом начинал шуметь песок, потом на мгновение наступала осторожная тишина, и за ней снова слышался тяжелый морской вздох и однотонно стучали камни.

Утром на маленьком парходике «Аргус» переправились в Керчь и по раскаленному, вязкому асфальту поехали в Феодосию, а оттуда в Судак и Ялту.

Было очень жарко, температура в те дни достигала тридцати восьми — сорока градусов.

В горах Кара-Дага нет ни воды, ни растений. Мрачные хищные скалы напоминают лунный пейзаж. Дорога была очень плохая — ее тогда ремонтировали. Двигатели все время перегревались, они с трудом тянули велосипеды по крутым каменным склонам. Через каждые десять-пятнадцать минут приходилось останавливаться. Но двигатели не остывали. Мы толкали велосипеды руками, налегали на них грудью. Они были тяжело гружены, и мы выбивались из сил.

То были самые трудные дни путешествия.

В Ялте счетчики велосипедов (мы их переставили со своих старых машин) отсчитали четыре с половиной тысячи километров от Ленинграда. Возвращаться домой по уже знакомому шоссе, через Харьков и Москву, не хотелось, и мы переправились морем в Одессу, а оттуда пустились напрямик, проселочными дорогами, к Киеву.

На южной Украине дороги были покрыты толстым слоем рыхлой пыли. Когда нас обгоняла машина, пыль поднималась густым коричневым туманом, и несколько минут мы ехали, как слепые, не видя ничего перед собой.

Потом пошли дубравы и рощи. Выпали дожди. Украинские села манили нас своей красотой и щедростью. Но мы мчались вперед и вперед, потому что подходил конец нашим отпускам и пора было возвращаться в Ленинград.

Только однажды не выдержали и свернули в сторону. Увидели на дороге несколько троек с бубенцами и лентами. Думали: свадьба. Оказалось, едут на ярмарку. Поехали за ними. Нагнали трактор — он волочил за собой большие сани. Как яркие птицы сидели там нарядные парни и девушки, в мешках хрюкали поросята, из корзин вытягивали длинные шеи гуси. Межколхозная ярмарка хотя и уступала Сорочинской ярмарке, описанной Гоголем, но тоже была многолюдная, пестрая, веселая и богатая.

За Киевом ехали со средней скоростью сорок — сорок пять километров в час. С каждым днем двигатели работали все лучше. Они будто набирались сил. Велосипеды были прочны и надежны, как танки. Мы чувствовали себя отлично и сочинили песню о наших моторчиках и велосипедах, о пыльных дорогах, о ночлегах на сеновале. Мы орали эту песню, стараясь перекричать треск двигателей. Но и двигатели старались не меньше, и никто нашей песни не слышал. Люди останавливались на обочинах и с удивлением глядели на наши раскрытые рты.

Остались позади Могилев, Гомель, Витебск. Псковщина встретила нас дождями и грозами. Дожди шли ежедневно. Сначала мы переживали их, потом это надоело — ехали под дождем. Одежда не просыхала. Тогда решили удирать от дождей. Завидев сзади тучу, давали полный газ и мчались во всю мочь. Если туча шла навстречу — отчаянно бросались под дождь, чтобы проскочить как можно скорее.

В конце августа подъезжали к Ленинграду. Счетчики показывали шесть тысяч километров.

Последнюю ночь провели на сеновале в сорока километрах от Ленинграда. Дождь нудно стучал по крыше. Мы зарылись в сено. Было странно и грустно, что путешествие кончается. Скоро уже не услышим привычного гудения моторчиков, не сядем отдохнуть на краю дороги, не будем загадывать, где нас застанет ночь.

Только теперь мы по-настоящему сжились с двигателями и велосипедами, только теперь узнали их как следует, научились повсюду находить ночлег, карабкаться по горам, ездить по сыпучему песку и удирать от дождя. Только теперь нам следовало бы начинать путешествие.

В эту ночь мы долго разговаривали.

— Ну что ж, — сказал один из нас, — будем считать, что это была лишь тренировка, что все лучшие путешествия еще впереди.

— Не плохо бы побывать в Средней Азии, — мечтательно сказал другой. И, помолчав, добавил: — А можно и в Сибири. — Он опять помолчал. — Или махнем на Дальний Восток?..

Наши глаза уже путешествовали по карте. Она лежала на плащ-палатке, слабо освещенная фонариками, помятая, выцветшая, истрепанная на сгибах, такая знакомая и все же полная недомолвок и обещаний.

На следующее утро проснулись очень рано. Накрапывал скучный дождик, было туманно, и на поникших деревьях виднелись первые желтые листья — предвестники осени.

Мы завели моторчики и понеслись по мокрому асфальту. Лужи обдавали нас холодными брызгами. А мы ехали и пели. И были счастливы. Не потому, что заканчивали путешествие, а потому, что уже обдумывали новое.

* * *

Когда мы вернулись в Ленинград и рассказывали о своем путешествии, многие говорили: «На ве-

лосипедах?.. Да ведь это же смех! Путешествовать надо только на «Победе». Ну, в крайнем случае на «Москвиче».

Они правы. В машине ехать гораздо удобнее. Можно спокойно сидеть в белых рубашках и мчаться со скоростью восьмидесяти километров в час.

Но мы путешествовали на велосипедах и не жалеем об этом.

За день мы проезжали очень немного, иногда даже меньше ста километров. От нас всегда пахло бензином. Одежда была пропитана автолом и покрыта пылью.

По песчаным дорогам мы плелись со скоростью пешеходов. На булыжнике тряслись так, что казалось, вот-вот вылетим из седла.

Но зато мы замечали, как через дорогу перебегают черный жук, как, взяв клюв в клюв, целуются вороны и с костяным стуком крыльев летит рядом с нами синяя стрекоза.

И вокруг нас не было ни стен, ни стекол — только лес, поля, ветер и солнце.

И за каждым поворотом нас ждала неожиданность.



МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

25 июня 1959 года небольшая группа друзей и многочисленная толпа незнакомых мальчишек провожали нас в новое путешествие.

На этот раз нас было не двое, а четверо, и путь лежал не на юг, а через Волгу и Уральские горы на восток, в Казахстан, где десятки тысяч юношей и девушек, съехавшихся со всей страны, строили заводы, города и распахивали целинные земли.

Наши новые товарищи — тоже члены литературного кружка Дома культуры трудовых резервов.

Все они, конечно, мечтали провести лето в путешествии, побродить или поездить по родной стране. Наслушавшись наших рассказов, ребята даже приуныли: так захотелось им поехать вместе с нами!

Но где взять моторные велосипеды? Такие велосипеды уже выпускал Львовский велосипедный завод, но стоили они недешево, и достать их в то время было трудно.

Пошли посоветоваться к директору Дома культуры — большому другу литературного кружка, Феликсу Степановичу Григоловичу.

— На всех купить велосипеды Дом культуры не может, — сказал он, — но две-три машины, так и быть, купим. А кому ехать — это решайте сами.

Решили так: кто из членов кружка напишет лучший рассказ или стихотворение, тот и едет с нами (если, конечно, позволит здоровье и он ничем не прощрафится в училище или на производстве).

Победителями в творческом соревновании оказались Володя и Герман.

Володя по профессии химик. Он пишет рассказы и много занимается спортом: ездит на мотоцикле, ходит в туристские походы, лазает по горам.

Герман только что окончил техническое училище и стал фрезеровщиком. Он поэт, и в этом году первый раз было напечатано его стихотворение.

И вот мы выехали.

Наши велосипеды выглядели довольно странно: перед рулем каждой машины сверкала никелированная банка с черной пупышечкой на крышке. Она предназначалась для сигарет, спичек, дорожных очков и другой мелочи. Багажники мы сделали сами. Они металлические, решетчатые, как корзины. В них втиснуты непромокаемые мешки, набитые всякой всячиной. Там запасные части, плащ-палатки, бензинка, кастрюля, географические карты и даже маленькая пишущая машинка.

Багажники были такие устрашающие, что не верилось, будто велосипеды смогут тронуться с места.

Некоторые из провожающих считали, что мы берем с собой много лишнего. Но мы по опыту прежнего путешествия знали, что в пути могут понадобиться самые различные предметы. Правда, тот же опыт подсказывал, что многие из этих предметов мы выбросим на первой же сотне километров. Но посудите сами: как, отправляясь в дальний путь, не взять дюжину спиц, или тросики сцепления, или лишнюю рукоятку газа?.. Вдруг из-за какого-нибудь кулачка прерывателя или поршневого кольца, которых у нас не окажется, придется прервать путешествие? Ведь мы никогда себе не простим такой оплошности!

И страх перед этим заставил нас безжалостно нагрузить велосипеды.

Впоследствии оказалось, что самым бесполезным предметом была пишущая машинка.

Как и в прежнем путешествии, мы почти весь день проводили на велосипедах. Будто в ускоренном темпе пустили перед нами длинную видовую кинокартину — кадры мелькали, сменяли друг друга, мы не успевали в них вдуматься, как они уже оставались позади. И хотя на коротких дневных привалах наша пишущая машинка развивала не меньшую скорость, чем в пути развивали велосипеды, но записи в дневнике получались такие же беглые и обрывочные, как сами впечатления. Мы вполне могли обойтись без машинки.

А самыми ценными предметами, которые мы взяли с собой в дорогу, оказались красные флажки.

Когда у нас спрашивали, зачем мы приделали к велосипедам никелированные банки и почему у нас такие тяжелые багажники, мы отвечали ясно и вразумительно. Но всю дорогу нас ставили в тупик вопросы о флажках: «Для чего флажки?..» Мы растерянно переглядывались: разве объяснишь в двух словах, какое значение имеют для нас эти кусочки красного шелка, эти негаснущие огоньки?

Когда нам было грустно или трудно или хотелось вернуться домой, мы поглядывали на флажки и видели, как бойко они бьются с ветром. И от этого живого трепета становилось веселее, легче, хотелось ехать все дальше и дальше.

НЕ МЕШАЙТЕ ЛЮДЯМ БЫТЬ ДОБРЫМИ!

Раннее утро. Едем по Лиговке и Московскому проспекту. На панелях останавливаются прохожие, провожают нас любопытными взглядами. Остаются позади «Скороход», «Электросила», Московский парк победы. Два года назад город кончался здесь. Теперь по обе стороны шоссе — новые многоэтажные здания. Одни из них уже заселены, другие еще только строятся, а город все тянется и тянется, будто не хочет нас отпускать.

На одной из самых последних строек, на пятом этаже — две девичьи фигурки. Увидели нас, выпрямились и со смехом помахали нам.

Этот веселый девичий привет был как обещание удачи.

Неужели сбылась мечта? Неужели под колеса наших велосипедов снова течет дорога?

Два года назад по этой же дороге мы отправлялись в свое первое странствие. Робкими прутиками стояли тогда вдоль обочин нежные саженцы лип и тополей. Сейчас это сильные молодые деревья, и их стройные тени косо лежат на асфальте.

Километровые столбы начали свой равнодушный счет. Поля и огороды расстилали перед нами светло-зеленые полотна. Кричали петухи в деревнях. Сильным порывом воздуха обдавали комфортабельные автобусы-экспрессы. Они мчались с сумасшедшей скоростью. Но Ленинград еще владел нашими мыслями и чувствами, и мы все не могли стряхнуть с себя горячку последних месяцев.

А горячка была изрядная.

Приобрести велосипеды по безналичному расчету оказалось делом нелегким. Еще труднее было добиться того, чтобы младшему из нас разрешили досрочно сдать государственный экзамен (в тот год он оканчивал индустриальный техникум), а Герману и Володе перенесли сроки отпуска.

Сначала мы действовали официально: писали заявления и требовали внимания и помощи.

Но начальники не любят, когда у них требуют, и мы возвращались домой возбужденные и негодующие.

Между тем уже вскрылась Нева и отцвела черемуха, а мы все еще не знали, сумеем ли осуществить задуманное путешествие. Тогда, уже в отчаянии, мы вновь обошли учреждения, в которых могли нам помочь. Теперь мы ничего не требовали, а просто рассказывали, как нам хочется совершить эту поездку, как мы копили деньги и как будем огорчены, если не достанем велосипеды или не получим отпуск.

И начальники, слушая нас, теряли весь свой начальственный вид. Они расспрашивали, как расспрашивали все другие. Где мы собираемся в пути ночевать? Что будем делать во время дождя? Какую скорость могут развить велосипеды? Оказывалось, что

они и сами мечтают бродить с рюкзаком за плечами, ночевать на сеновалах, удить рыбу в лесном озере.

— Эх, — с мечтательным вздохом говорил какой-нибудь седой, полный и важный человек, — сбросить бы годков пятнадцать-двадцать, махнул бы и я вместе с вами!

В конце июня у всех нас в бумажниках лежали отпускные удостоверения, а в ветхом сарае на Расстанной улице стояли новые велосипеды с моторчиками, которые нам так нравились, что мы проводили возле них целые дни, забывая о завтраке, обеде и ужине.

И один из нас сказал другим:

— Я думаю, что, по существу, все люди добрые и очень хорошо к нам относятся. Надо только не мешать им проявлять свое доброе отношение.

Мы потом часто повторяли эти слова друг другу, и они стали как бы нашим девизом: не мешайте людям быть добрыми!

Да и как бы мы могли отправиться в дальний путь, не веря, что люди добрые? Тогда нам пришлось бы брать с собой подушки и одеяла, огромные запасы пищи и целую мастерскую для ремонта машин. Да и вообще, как отвратительно чувствовал бы себя путник, если бы он не верил, что в каждом городе и в каждой деревне кто-то ждет его как родного и готов поставить для него самовар, высушить его мокрую одежду, уступить ему свою постель!

Так думали мы в первое утро нашего путешествия.

ОЧКИ

Отправляясь в путешествие, мы обзавелись свето-защитными очками и, как только оказались на шоссе, надели эти очки. И вдруг будто наступил вечер: ясное небо стало пасмурным и тревожно-предгрозовым, лица встречных — хмурыми и неприветливыми, а трава приобрела какой-то зловещий оттенок.

Эти очки мы выбросили на десятом километре. В Любани купили другие. Даже пасмурное небо ка-

залось в них ясным и лазурным, а все встречные смотрели на нас так, точно наши велосипеды везли им какое-то особенное счастье.

И нам стало очень хорошо и весело.

СФОТОГРАФИРОВАТЬ НАДО БЫЛО ВСЕХ

Шестьдесят второй километр. Здесь болотистые места, заросшие мелким ельником, ольхой, худыми березками. Злыми полчищами носились комары, слепни и мошкара. Стоило сойти с велосипедов, как они яростно набрасывались на нас, оставляя на лице и руках крупные волдыри.

Справа от дороги — поляна. На ней груда толстых ржавых труб. Рядом трубоукладчик. Это большой трактор. Два металлических бруса поднимались над ним пирамидой, и почти до самой земли свисал массивный крюк.

Невысокий мужчина старательно счищал с сапога налипшую глину. В сторонке несколько девушек в комбинезонах варили асфальт в черных котлах.

Первое, что ощущалось на этой поляне, — многозначительное безлюдье. За ним что-то таилось. Это чувствовалось по гряде коричневой глинистой земли, по волнистой линии бесконечной трубы над этой грядой, по глухому гудению тракторов в глубине леса.

Мы поставили наши велосипеды возле кустов и подошли к мужчине. Он оказался начальником механизированной колонны, которая строила один из участков газопровода.

Кузьма Ефимович Картавых крепко стоял на земле, широко расставив ноги в больших сапогах, и показывал, где ведутся работы, таким размашистым жестом, точно ему были подвластны все окрестные леса и болота. Он и ходил по-особенному: выставляя вперед правую ногу, как бы с силой отталкивал воздух левым плечом, а выставляя вперед левую ногу — с такой же силой отбрасывал воздух правым плечом.

— Дельные у меня мужики, — говорил Кузьма Ефимович, — за двадцать пять дней уложили восемь

с половиной километров труб. А условия сами видите: почва топкая, иной раз один трактор приходится вытаскивать двумя, а то и тремя другими.

Потом он повел нас к траншее. Там мы увидели интересные машины. Они, подобно всадникам, оседлали трубу и, медленно передвигаясь по ней, очищали металл от ржавчины, покрывали его темным смолянистым составом и бережно закутывали трубу изоляционной лентой.

— Вы Комова сфотографируйте, — говорил Кузьма Ефимович, — лучший машинист. — А Комову приказывал: — Причешись! Надень кепку!

— А это Брехов, — подвел он нас к другому товарищу, — его тоже надо, не хуже Комова работает.

И давал указания, куда Брехову встать, чтобы снимок получился более эффектный.

Так ходили мы от одной машины к другой, и оказалось, что надо сфотографировать всех машинистов, изолировщиков, трактористов, шоферов и подсобников, потому что все они, по словам начальника, работали замечательно.

Вечером, остановившись на ночлег в деревне Каменная Мельница, на берегу реки Полисть, и достав из багажника пишущую машинку, мы записывали:

«Весь день ехали, как по шахматной доске. Гладкий и крепкий бетон шоссе расчерчен квадратными швами. На обочинах — памятники, беседки, скамейки для отдыха. Это там, где два года назад мы с трудом тащили наши велосипеды по сыпучему песку.

А справа и слева все время лес, и грохочут тракторы, и высятся стрелы трубоукладчиков, и на полянках стоят на автомобильных колесах вагоны с надписями: «Вагон-столовая», «Вагон-лавка», «Вагон красный уголок», а на деревьях — лозунги: «Газ — Ленинграду!»

Когда-то, очень давно, единственными путями перевозки товаров были моря и реки. Потом появились мощные дороги. Потом люди проложили на земле рельсы. Уже в нашем веке появились воздушные пути. А теперь создаются подземные пути. На тысячи километров тянутся под землей трубы. По ним текут нефть и газ...»

В избе уже было темно, и мы писали на улице. Пишущая машинка стояла на широком пне. Старший из нас сидел на маленькой раскладной скамеечке, какой пользуются художники и рыболовы. Он писал, а другие размахивали над ним руками, разгоняя комаров. Комары жалили, точно осы. Борьба велась неравными силами. Нас было четверо, а комаров — тысячи.

Не прошло и двадцати минут, как наши лица раздулись, под глазами налились желваки, а руки обогрились кровью.

ВАЛДАЙСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ

Валдайские леса похожи на отары овец. Они пасутся на склонах зеленых холмов, на берегах голубых и чистых озер.

Хочется нырнуть в траву, как в море, — божьи коровки щеголяют там в пестрых нарядах и зеленые кузнечики, встав на цыпочки, отплясывают польку-бабочку.

Из лесов на дорогу выбегали деревни и смотрели на нас с мальчишеским любопытством.

А мы мчались с холма на холм, как с волны на волну.

Волна несла нас вниз. Мы выключали моторчики и впервые за много часов слушали тишину. Нам казалось, что мы понимаем птиц, их стремительное падение с высоты. Нарастало чувство необычайного счастья. Все быстрее и быстрее. И вот новый подъем. Машины выносят нас сразу же на середину холма. Включаем сцепление. Снова на гребне. Опять вниз. Опять тишина. Опять птичий полет.

ДЕВУШКА, У КОТОРОЙ БОЛЕЛИ ЗУБЫ

За нами гналась грозовая туча. Иногда ее край настигал нас, и крупные капли дождя тяжело падали на асфальт. Туча несла с собой преждевремен-

ный вечер. Надо было подумать о ночлеге. Вышний Волочек еще далеко. Остановились в Хотилове.

Мы выбирали место для ночлега обычно так: медленно ехали вдоль деревни и вглядывались в дома, как в лица. Одни дома суровы и неприветливы. Другие — деловиты и озабоченны. А третьи — ласковы. Чем они ласковы, пожалуй, не объяснить: и наличники такие же, как в других домах; и палисадник похож на соседский; и заборчик выкрашен той же краской. А вот что-то есть в этом доме такое, что именно к нему хочется подойти и постучать в окно.

И мы постучали. Из окна выглянула девушка, у которой болели зубы. Она была повязана белым платочком. Уголки его торчали над головой, как заячьи ушки. Она была милая и несчастная.

Девушка стеснительно улыбнулась, как бы извиняясь за свой вид, и, когда мы спросили, нельзя ли здесь переночевать, сказала:

— Ой, да не знаю... Спросите отца.

«Ой, да не знаю» она сказала совсем не нам и совсем не так, как говорят: «Не знаю». Едва взглянув на Германа, она отошла от окна.

У Германа — голубые глаза младенца и могучие плечи грузчика. Когда льет дождь, он раньше других впадает в отчаяние, а когда выглядывает солнце, раньше других приходит в восторг.

И есть у него еще одна особенность — он всегда так измазан машинным маслом, будто побывал внутри своего моторчика и вылез оттуда через выхлопную трубу.

Отец девушки, у которой болели зубы, открыл ворота и помог нам затащить велосипеды в хлев, под нашест, на котором сидели куры. Овечки, уже расположившиеся на покой, нехотя потеснились.

В избе было чисто и просторно. Над комодом яркий плакат — синее море, белый пароход, улыбающийся красавец и разумный совет: «Храните деньги в сберегательной кассе».

Пока мы возились с велосипедами, мылись и распаковывали вещи, вскипел самовар. Хозяева сели за стол вместе с нами. Они чинно и шумно высасывали

из блюдец горячий чай. Хозяйка занимала нас рассказами о здоровье своей телки. Хозяин расспрашивал, куда и зачем мы едем, а девушка сидела в стороне. Она держала раскрытую книгу, слушала разговоры и каждый раз, когда Герман поглядывал на нее, делала вид, что читает.

Пужинав, Герман отошел от стола. Он подсел к девушке и спросил, что у нее за книга. Потом он спросил: давно ли болят зубы? Учится она или работает? Есть ли у нее подруги? На все вопросы девушка отвечала тихо и коротко.

Вскоре мы легли спать.

Устроились на сеновале. Свежее сено обволакивало пряными запахами полевых цветов. Гроза проходила стороной. Всю ночь под нами дышала, охала и похрустывала жвачкой хозяйская телка.

Утром мы с хозяевами опять пили чай, а девушка сказала, что не хочет чаю: у нее все еще болели зубы. Она опять сидела в стороне, тоненькая, в цветастом платице, с маленькими заячьими ушками над головой. Милая и несчастная. Опять держала раскрытую книгу, слушала разговоры и каждый раз, когда Герман поглядывал на нее, делала вид, что читает.

Позавтракали. Пора было уезжать. Но Герман сказал, что на заднем колесе его велосипеда надо подтянуть спицы. И он долго подтягивал спицы, а девушка в это время сидела на порожке с раскрытой книгой.

Спицы были подтянуты. Мы вывели велосипеды на улицу, простились с хозяевами, завели моторчики, но Герман сказал, что у него плохо затянут багаж. Он долго возился с багажом, а девушка сидела у ворот с раскрытой книгой.

Потом мы уехали. Деревенские мальчишки бежали за нами, деревенские собаки норовили схватить нас за ноги. И вот уже деревня осталась позади, нас обступил лес, но Герман сказал, что ему надо вернуться, что он забыл гаечный ключ.

Мы рассердились: «Хватит! Довольно!» — и поехали дальше.

А Герман до сих пор хочет вернуться за гаечным ключом в ту деревню, где живет девушка, у которой болели зубы.

КАНИТЕЛЬ И МИШУРА

Первый раз мы были в Торжке два года назад, во время прошлого путешествия. Один из нас тогда въехал в Торжок на буксире.

Веломоторчики были еще несовершенно. Инженеры говорили: «В этих двигателях есть одно слабое место. Бывает, что разваливаются сепараторы коренных подшипников. Сначала вы услышите грохот и скрежет — словом, целую музыку, а потом поршень заклинит намертво, тогда, считай, все! Тогда уж вы с ним ничего не сделаете».

Так и получилось. За несколько километров до Торжка мы услышали в одном из наших двигателей такую музыку, будто большой симфонический оркестр исполнял какую-то патетическую симфонию, а потом велосипед дернулся и остановился.

Пришлось провести здесь несколько дней. Торжок тогда показался нам хорошо знакомым. Мы узнавали его улицы, вымощенные крупным булыжником, его толстозадые купеческие дома и церковные колокольни, похожие на пожарные каланчи.

Торжок показался знакомым, наверно, потому, что он населен литературными героями. Здесь на ямской станции провел бессонную ночь Пьер Безухов. Говорят, что именно по этим улицам важно шествовала в церковь грозная Кабаниха, и нам даже показали тот обрыв, с которого несчастная Катерина бросилась в воду. Веселый и мудрый жизнелюб Александр Пушкин не раз останавливался в трактире Пожарского и озорными стихами на века прославил котлеты, которые отлично жарила трактирщица Дарья Евдокимовна.

Таким остался в нашей памяти Торжок — картинками к произведениям Толстого, Пушкина, Гоголя, Островского, — потому что занятые моторчиками и тревожась, что наше путешествие может оборваться в самом начале, мы были любопытны и рассеянны.

Но на этот раз моторчики работали отлично, у нас было прекрасное настроение, и нам открылся другой Торжок — асфальтированный проспект, большие каменные дома, знакомая картина строительства, корпуса заводов и фабрик.

Оказалось, что в Торжке есть полностью автоматизированная обувная фабрика, завод противопожарного оборудования, что здесь строятся завод полиграфических красок и Дворец культуры.

В городке, где раньше было тридцать шесть церквей, сейчас открыто тридцать шесть библиотек.

На каждую тысячу жителей — одна библиотека.

В старом деревянном доме с колоннами мы попали в удивительный мир золотых птиц, листьев, цветов. Это вышивки. Они известны во Франции, Англии, Америке, Турции, Индонезии, Греции, Испании и во всех других странах, где устраивались международные выставки искусств и ремесел.

Узоры и рисунки, вышитые канителью и мишурой, кажутся массивными, выкованными из чистого золота.

Мы были в золотошвейной артели и в том училище, где воспитывают золотошвей.

На длинных шнурах свисают электрические лампочки. Женские головы склонились над пальцами. Повсюду сверкание канители, мишуры, блесок, фольги.

Канитель — это золотые и серебряные трубочки, нанизанные на бумажную или шелковую нить, а мишура — очень тонкая проволока из чистого золота или серебра.

Руки золотошвей внимательны и осторожны. В цехе такая тишина, что кажется, если очень прислушаться, можно услышать звон серебра и золота.

Чтобы вышить торжокским швом прямую линию длиной в десять сантиметров, опытная мастерица затрачивает два часа. А чтобы вышить волну, кружок или изгиб, требуется еще больше времени.

При нас заканчивали большую скатерть. Три лучшие мастерицы вышивали ее почти целый год. Казалось, каждый стежок они ласково поглаживают пальцами и любят им.

Золотые узоры, роскошные и в то же время нежные, лежали на громадном зеленом поле. Они лежали праздничные, щедрые, будто воплотилась в этом ли- том узоре мечта народа о богатстве и счастье.

От поколения к поколению передают торжокские женщины свое редкое мастерство, и, как во всяком подлинно народном искусстве, в нем живет красивая душа народа. В нем есть что-то от русской песни, от плеска реки, от березовых рощ, от утренней зари.

На следующий день мы уезжали дальше. Сразу за городом нас обступил лес, и каждое дерево, каж- дый лист, каждая птица на ветке казались озаренны- ми тем золотым сверканьем, которое подарил нам Торжок.

МЫ ОТДЫХАЕМ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ

Когда мы уставали, то ставили велосипеды на обочину, а сами ложились тут же, вытянув ноги и блаженно опустив голову на ладони, под которыми громадной подушкой лежала насыпь дороги.

Мы закрывали глаза, и наступало чуткое забытье, почти сон и в то же время не сон. Мозг, как метро- ном, отсчитывал проходившие машины, слух улавли- вал все звуки, а через закрытые веки мы как бы ви- дели дорогу, которая текла и текла бесконечной рекой.

Дорога не отпускала нас. Даже лежа на обочине, мы были частью ее.

В каждой пробегающей машине есть романтика и тайна. Машины похожи на птиц или облака. Они приходили неизвестно откуда и уходили неизвестно куда. Иногда в машине промелькнет добродушная улыбка, иногда скользнут небрежно-равнодушные гла- за, и снова ничего нет. Каждая машина вызывала неясные мысли и мечты. Но мы не успевали додумать наши мысли и домечтать мечты, как вдали возникала новая машина и звала за собой.

Мы торопливо садились в седла и снова мчались дальше. И люди смотрели на нас, как на птиц или на облака.

ПОД КОЙКАМИ СПАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ

В Клин приехали вечером.

Как и во многих других городах, недавно застроенная окраина здесь была величественнее центра.

Сначала мы увидели громадные корпуса комбината искусственного волокна, многоэтажные дома для его рабочих и служащих, красивые площади, широкий проспект и только потом попали на узкие улицы с деревянными особняками и лирическими крылечками — в центр старого тихого Клина, который был прославлен только тем, что в нем много лет жил Чайковский.

Мест в гостинице не оказалось. Где ночевать? Куда поставить велосипеды? Вспомнили, что на краю города видели ремесленное училище, возле которого много ребят играло в волейбол. Решили попытаться там — ведь мы тоже имеем отношение к трудовым резервам.

Возле училища нас обступили ребята: «Откуда? Куда? Кто такие? Зачем едете?..» Со всех сторон к рулям и колесам тянулись любопытные руки. Слышались возгласы: «Вот это да! Это машины! Нам бы такие!..» Кто-то мечтал: «Кончу училище — тоже поеду путешествовать...» Возник спор: сколько нам платят. Один кричал: «Ясно сколько, по шесть рублей в день, как положено!» Другой возражал: «Да иди ты! В дороге знаешь как есть хочется!»

Узнав, что нам нигде ночевать, ребята побежали за комендантом.

Комендант пришел. Был он плохо выбрит. Уже издали крикнул на ребят:

— Чего собрались? Что за базар?

Мы показали документы. Он очень долго и хмуро читал, потом недоверчиво разглядывал печати и подписи, потом посмотрел, нет ли чего на оборотной стороне, и, возвращая документы, сказал:

— Без письменного разрешения директора пустить не могу.

И ушел, даже не обернувшись.

Ребята кричали:

— Да чего там! Оставайтесь. Мы вас так спрячем, что никто не найдет...

Какой-то белобрысый паренек с восторженно-заданным носом сказал:

— Идея! Ложитесь на мою койку, а я буду караулить велосипеды.

— А если придет комендант?

— Так мы вас под койки!

Но под койками спать не пришлось. Мы вернулись в город и остановились у почтамта. Был час, когда по улицам ходили принарядившиеся парни и девушки, отцы не спеша прогуливались, держа за руки ребятишек, возле большого нового здания театра уже зажглись фонари. Они горели бледным светом, еще ничего не освещая, но своими желтыми гирляндами украшая город.

Как всегда и повсюду, наши велосипеды сразу были окружены прохожими. Опять вопросы: откуда и куда? И удивление, что едем так далеко на велосипедах.

Мы поступили так, как нередко поступали во время прошлого путешествия: обратились к обступившим нас людям с просьбой помочь найти ночлег.

Сразу отозвался молодой папаша, стоявший возле нас с маленьким сыном. Сын был такой же миловидный, такой же беленький, как отец, и на нем была такая же серая кепка.

— Вот беда, — сказал молодой папаша, — я бы со всем удовольствием, да велосипеды не затащить — я на пятом этаже живу. Но я дам записку к одному человеку, у него свой дом, целая усадьба...

И на клочке бумаги он написал:

«Коля, эти ребята едут из Ленинграда. Им негде переночевать. Выручай. Петр».

Мы спросили:

— А пустит?

— Николай-то? — удивился он. — А как же! На одном заводе работаем, вместе в Балтфлоте служили, можно сказать — ваши земляки.

И он объяснил, как разыскать дом Николая Ивановича Огурцова.

Николая Ивановича мы застали в огороде. Рядом с ним, крепко ухватив его за штанину, стояла крохотная девчушка с большим бантом. Услышав наш оклик, он сгреб дочку под мышку и, широко перешагивая через грядки, пошел навстречу.

— Вот и хорошо, что приехали, — сказал он, прочитав записку: — Пошли умываться! — И, ведя нас к колодцу, крикнул жене: — Дружки приехали! Что там есть у нас? Суп остался?..

А девчушка, не отпуская его штанины, важно прокартавила:

— Я Таня Огурцова.

Дом был окружен фруктовым садом, кустами смородины, малины, крыжовника. Во всем чувствовалась рука заботливого и старательного хозяина. Нас удивило, что таким хозяином оказался еще совсем молодой человек, очень ладный, с военной выправкой. Такого человека редко встретишь в огороде. Такого чаще встретишь в театре, в конструкторском бюро или на капитанском мостике.

Ужинали в тесной кухоньке. Молодая хозяйка ушла доить корову, Николай Иванович кормил нас сам. Тарелки были до краев наполнены густой лапшой с курятиной, а он стоял рядом с поварешкой в руке и норовил добавить.

— Да вы не стесняйтесь, — говорил он, — сегодня мы у нас, а завтра мы у вас.

Один за другим в кухоньку входили все живущие в этом доме. А жили в нем два молодых брата Огурцовы с семьями, их отец и мать. Мужчины работали вместе на комбинате искусственного волокна. Вместе строили дом, вместе выращивали садик. А в праздничные дни вместе садились за стол — старики, сыновья, невестки, внуки.

— У нас все общее, — шутил Николай Иванович, — живем как при коммунизме. Да и работаем тоже. Побывали бы вы у нас на комбинате — цехи громадные, светлые, под потолком люстры дневного света, чистота, как в больнице. Одним словом — химня!

Он интересно рассказывал об искусственном волокне.

— Подумать только, что из газа, почти из ничего, а какие делают вещи! Что там нейлоновые чулки и блузки! Можно сделать гребной винт, болты, детали станков. А рыболовецкие сети из капрона!.. Раньше сети надо было каждый раз просушивать, чинить. То они гниют от сырости, то порвались. Или взять канаты. Вот я во флоте служил — сколько возни, чтоб не перетерлись, не заржавели. А уж капрон не ржавеет. А что касается прочности, так будьте спокойны! Теперь буксирные тросы делают из капрона — они как пружина. Любой рывок, а им хоть бы что!

Утром мы уезжали в Москву. Когда благодарили гостеприимных хозяев, Николай Иванович сказал:

— Да что там! А если я приеду в Ленинград, разве вы не накормите и не уложите спать? — Он сказал это так просто и убежденно, будто иначе и быть не может.

Мы приближались к Москве. Мы уже видели вдали высотные здания, уже были вовлечены в вихревой ритм ее дорог. Исполинский масштаб столицы — еестроек, ее дел, ее людей — уже владел нашими душами. А мы думали о Николае Огурцове, о простых и красивых людях и о великом братстве нашего народа.

НОВОЕ ШОССЕ

Между Москвой и Горьким строилось новое шоссе. Это громадной ширины ровная полоса твердого и гладкого бетона. В обоих направлениях мчалось много машин. И всем хватало места. Даже нашим велосипедам не приходилось жаться к обочине.

Приветливые шоферы высовывались из кабин и добродушно подмигивали нам: мол, жмите, ребятки! Где же еще гнать, как не по такой дорожке?

Действительно, вести машины по такой дороге было одно удовольствие.

В деревне Ожерелки нам рассказали, что это шоссе — только начало одной из самых больших авто-

страд в мире. Оно потечет через горы, равнины, степи и пустыни до самой китайской столицы.

И когда мы поехали дальше, то, наверное, под впечатлением этого рассказа, у нас впервые возникло странное и горделивое чувство, что мы едем не только по Московской области, а по всей нашей планете, стремительно несущейся в космосе. Нам даже показалось, что мы взбираемся не на пригорок, а на выпуклость земного шара.

Таким возвышенным мыслям мы предавались недолго. Бетон кончился, а за ним пошла среди леса высокая земляная насыпь с кучами песка и гравия. Все машины, и наши велосипеды тоже, свернули на старое шоссе, узкое, с выбоинами и рваными краями.

Шоссе строилось отдельными участками. Одни уже были закончены, другие еще заливали бетоном, а на иных участках лишь рубили просеки и сооружали насыпь.

На старом шоссе было очень тесно. Машины почти задевали друг друга. Шоферы злились и чуть ли не спихивали нас в канаву. К тому же недавно прошел дождь. Колеса разбрызгивали мокрую желтую грязь. Ею были вымазаны наши штаны, куртки и лица.

Навстречу все время шли новые машины Горьковского автозавода: грузовики, автобусы, санитарные машины, машины для перевозки продуктов. На них крупными буквами было написано одно слово: «Транзит».

И к Москве и к Горькому машины двигались одна за другой, почти без перерывов. Нас отжимали к канаве, как бы отталкивая кузовами и крыльями. Но мы снова и снова норовили пристроиться в колонну, и шоферы, высываясь из кабин, ругались так, будто именно мы создали эту толкотню и давку.

Потом все машины остановились и долго ждали, пока на дорогу медленно и грузно вылезали тракторы, волочившие за собой большие ковши на двух колесах. В ковшах был песок. Его добывали в громадном карьере, посреди которого стояли экскаваторы. Тракторы шли друг за другом по дну карьера, будто водили хоровод.

На дороге стало еще теснее. Теперь приходилось пробираться пешком, ведя велосипеды руками. Но вдруг мы увидели, что впереди, в той стороне, где проходит насыпь, высоко вверх поднялась железная лапа и будто помахала нам издали большим совком.

Там начался новый участок строительства дороги. В этот день мы записали в своем дневнике:

«На семьдесят девятом километре от Москвы познакомились с бригадой дорожных строителей, которую возглавляет Иван Никанорович Башмаков. Шестнадцать юношей и девушек хотят стать бригадой коммунистического труда. Девять из них имеют десятилетнее образование, а двое учатся в автодорожном техникуме. Каждый день бригада продвигается на сто семнадцать метров. Это совсем новый тип дорожных рабочих — механики, арматурщики, мотористы. «У нас романтическая профессия», — сказал арматурщик Николай Гуреев. Он без рубашки, очень загорелый; у него плечи и грудь спортсмена; на голове широкополая ковбойская шляпа. «Мы вроде геологов, — говорит он, — пробиваемся сквозь леса и болота. Каждое лето в другом месте. И жизнь у нас походная, трудная. Написал бы кто-нибудь марш комсомольцев-дорожников».

Захотели сфотографировать Надю Соберову. Уж очень она хороша — черноглазая, веселая, в красивом пестром платье и белом платочке. «Ой, — воскликнула Надя, — что же вы меня с лопатой! Я на машине. Я курсы окончила. Мое место там». И мы сфотографировали ее на машине, возле штурвала, на высокой площадке с металлическими поручнями. Она стояла в позе капитана дальнего плавания.

Лопат здесь стыдятся, и их почти нет. Всю работу выполняют машины. Они медленно передвигаются одна за другой по рельсам, уложенным вдоль обочин.

Все машины похожи на большие и узкие металлические мосты, перекинутые через дорогу. Одна машина выравнивает грунт, другая заливает его бетоном, третья уплотняет бетон и нарезает в нем швы.

Сорок самосвалов подвозят бетон и выливают

его в большой совок, который то поднимается высоко вверх, то опускается. Поперек дороги все время движется вагонетка. Ровным слоем она расстиляет бетон поверх бумажных лент, пропитанных битумом, и тонких прутьев арматуры. Дорога строится на долгие годы. Несколько метров подсыхающего бетона еще покрыты мешковиной, но вот весь поток грузовиков, автобусов, легковых машин — и среди них наши велосипеды — свернул со старого шоссе на новое».

Оно лежало перед нами — широкое, гладкое, твердое. И снова полный газ. Вперед! Быстрее! И чувство свободы, простора и полета... А шоферы, выглядывавшие из кабин, теперь добродушно подмигивали нам: мол, жмите, ребята! Все равно не догоните!

ГОЛУБИ И ВЕЛОСИПЕДЫ

Переехали речку Киржач. Красивое слово — Киржач, русское и песенное. И деревня на берегу такая же — русская и песенная. Песенные наличники на окнах, песенные рябины у ворот и песенные девушки заглядывают в глаза.

Заглядывают они как-то особенно. За одно мгновение успевают во всем признаться. Ведь все равно ты проедешь мимо...

Домъ здесь с верандами и мезонинами. В мезонине маленькое окошечко. Кажется, что за таким окошечком живет парень, который пишет стихи. Здесь прячет он свои тетрадки и удочки, а по утрам открывает окно, машет длинным шестом и бросает пронзительный свист. И белые голуби взлетают, хлопая крыльями.

Но окно не открывается и голуби не хлопают крыльями, а парень старается обогнать нас на своем велосипеде.

И становится понятно, почему стало меньше голубятников в русской деревне. Новая страсть овладела их сердцами. На велосипедах они отправляются на работу и на рыбалку, на велосипедах едут на свиданья.

ния. А когда обнимают любимых, велосипеды лежат на траве, как верные псы.

Если бы мы стали писать рассказ «В ночном», мы начали бы его так:

«Вокруг костра лежали велосипеды...»

БЕДНЯГА БЕЗУПРЕЧНЫЙ

Несколько дней подряд идут дожди. Промокшие и озябшие, мы остановились в одной деревне недалеко от Владимира. Мечтая погреться и обсушиться, постучали в окно того дома, из трубы которого шел дым. В окне показался человек с лицом сухим и скуластым. В его запавших глазах читались неудовлетворенные мечты и затаенное страдание.

Он охотно пустил нас в дом, достал с полки ворох бумаг и сразу же стал жаловаться на колхозное и районное начальство.

— Председатель колхоза — пьяница и вор, председатель сельсовета — пьяница и вор. В райисполкоме тоже все пьяницы и воры. Я писал всюду, — говорил он, — но разве мне поверят? У нас тут рука руку моет. Приехал инструктор райкома, а он и сам пьяница и вор.

С каждой минутой становилось все яснее, что нет у этого человека другой страсти, как разоблачать, разоблачать, разоблачать. По профессии он учитель начальной школы. Сейчас на пенсии — болен туберкулезом. Но и болезнь для него повод для разоблачения.

— Меня одна баба заразила, — рассказывал он. — Я с ней жил, а потом женился на другой. Так она меня кормила компотом, настоянным на палочках Коха... Меня все не любят: я всем режу правду-матку. Вот и стихи мои печатать здесь не хотят, так я их в другие районы посылаю, где меня не знают.

Он показал нам пачку дурных стихов, подписанных псевдонимом — «А. Безупречный».

— Меня и в партию не принимают, — продол-

жал он. — А почему? Все по той же причине. Знают, что я их буду разоблачать.

Мы слушали этого человека с чувством жалости и гадливости, и хотя одежда наша еще не обсохла, нам хотелось уехать как можно скорее.

ВОРОТА, НАДПИСИ, МАЛЬЧИШКИ

Во Владимире нас больше всего поразили ворота: заглянешь туда, а там не тесный двор, а бескрайние синие просторы Клязьмы, поля, леса, деревни. Ворота как окна — за ними распахнут мир, много неба, зелени, пространства.

И еще нам понравились новые поселки тракторного и химического заводов, и старый Владимирский кремль, и юный парк вокруг кремля.

В парке всегда много народу; тут качаются на качелях, читают газеты, играют в пинг-понг, и по всем аллеям короткие надписи: «За семилетие количество детских садов увеличится в нашем городе в два раза», «За семилетие протяженность троллейбусных линий увеличится на 12 километров», «Через семь лет ВЭМЗ будет выпускать в 4 раза больше электродвигателей»...

О чем говорят в парке?

Наверное, говорят о любви. Мы не слышали — о любви говорят тихо.

Мы слышали только то, что говорят громко.

Громче всех говорил лектор в открытом павильоне читального зала. Репродукторы разносили его голос по всему парку.

Мы узнали, что за последние двадцать лет в городе построено больше зданий, чем за все восемьсот пятьдесят лет его существования. Раньше здесь был только один маленький завод. Теперь всей стране известны тракторный, химический, электромоторный и другие крупные предприятия.

Пока мы слушали лекцию, мальчишки окружили наши велосипеды, стоявшие у входа в парк. У них были серьезные лица и деловые разговоры.

— Машина вроде бы ничего, — говорил мальчуган лет восьми-девяти, с футбольным мячом под мышкой, — да вот двигатель, наверное, слабоват!

— Что-то не пойму, где тут зажигание, — озабоченно размышлял другой парнишка, соскочивший с велосипеда. Одна штанина у него была опущена до пятки, а другая задрана выше колена.

— Не видишь, что ли! — ответил первый. — Как у «ИЖА». Магнето...

Мы почтительно слушали разговор будущих машиностроителей, инженеров, изобретателей.

ПРИВАЛ НА БЕРЕГУ КЛЯЗЬМЫ

Почти весь день ехали вдоль Клязьмы. Река все время виднелась слева, то в низких, то в высоких берегах, иногда приближалась к самому шоссе, иногда пряталась в веселой зеленой чаще.

Привал устроили на берегу возле старого дуба. Толстыми корнями дуб вцепился в землю и повис над обрывом. У него были громадные ветви, расколотый ствол и темная, точно вылитая из металла, листва.

Такая же листва была и у других дубов, у тех, что помоложе и попугливее. Они опасливо отодвинулись от обрыва и разбрелись по поляне: приземистые, похожие на широкие стога сена.

Было в них что-то мужское, мускулистое и властное. Они расправляли плечи и требовали простора.

Тишина здесь была какая-то воинственная. Казалось, что стоит ветру только коснуться дубового бора, и раздастся металлический звон, от которого вскрикнут и улетят испуганные птицы.

А под обрывом весело текла Клязьма. Широкая, многоводная, вся в солнечных бликах. Другой ее берег — низкий, изрезанный заводями и протоками — густо зарос лозняком. Там ивовые коричневые корни подступили к самой воде, и между ними наверняка прятались и ждали добычи огромные зубастые щуки.

Мы варили уху. Бензинка горела шумно. В траве ее не было видно, только черные языки копоти и внезапные вспышки синего пламени появлялись то с одной, то с другой стороны кастрюли, из которой торчал широкий рыбий хвост.

Все время ждали, что бензинка вспыхнет. В предыдущие дни она уже не раз пылала, как намоченная в бензине тряпка. Тогда ударом ноги мы отбрасывали ее вместе с кастрюлей куда-нибудь подальше от велосипедов. Но на этот раз бензин кончился раньше, чем она вспыхнула. Уха была еще не совсем доварена, но показалась очень вкусной, потому что мы были голодны и об ухе мечтали давно.

Мы лежали на траве вокруг расстеленной плащпалатки. Перед нами — черная от копоти кастрюля, буханка хлеба, пучок зеленого лука, ложки, большие перочинные ножи, и перец на клочке газеты, и соль в зеленой жестяной коробочке с яркой картинкой и надписью «Чай».

Пообедав, занялись делами. Один, сняв велосипедное колесо, заменял сломанную спицу. Другой стоял над обрывом на коленях и чистил кастрюлю. Третий, сидя на раскладном стульчике, выстукивал на машинке запись в путевом дневнике. «Вдуль дуруги, — писал он, — стуяли угрумные стуга сена, пухужие на дума». Четвертый ползал по траве. Он искал букву «О». Когда мы достали из багажника пишущую машинку, оказалось, что эта буква отломана. Она упала и затерялась.

Две чайки, привлеченные рыбьей чешуей, поблескивавшей в траве, все время кружили над берегом. У них были белые хвосты, черные головы и коричневые крылья с голубыми каемками.

СКАЗКА ОБ АЛЕНУШКЕ И БРАТЦЕ ИВАНУШКЕ

Ехали по широкому лесному коридору. Высокие березы свесили над дорогой густые пряди ветвей. Тонкие длинноногие сосны стояли гордые, как ко-

рабельные мачты. Кряжистые дубы достойно оберегали яркий подлесок.

Уже несколько дней одна половина неба все время оставалась ясной, а другая была затянута тучами. Они все старались и все не могли нас догнать.

Плотные лавины дождя обрушивались где-то за нашими спинами.

Уже под вечер мы, как обычно, удирали от грозы. Слышались раскатистые залпы грома.

Лес притаился и терпеливо ждал дождя.

В глубоком овраге увидели очень большую и раскидистую березу. Она была томная и сникшая. За нею желтыми свечками поднимались сосны. Заходящее солнце заливало их зеленые вершины мягким и бережным светом.

А дальше мы увидели озеро. Это было то самое озеро, где сестрица Аленушка кликала своего брата Иванушку. Со всех сторон оно было окружено березами, и одно сломанное дерево в изнеможении касалось воды своими обессиленными ветками.

Озеро было небольшое и очень задумчивое. Вдоль берегов росли камыши, а ближе к середине — белые лилии. В неподвижной воде четко отражались ветви и листья, тонюсенькие тростинки и маленькне крапинки неба. В этом озере мог бы жить добрый водяной. На этом берегу могли бы плясать русалки. И вдруг мы почувствовали себя доверчивыми, как дети. И среди берез мелькнул серый волк, на котором скакал Иван-царевич.

УКРАШЕНИЕ ГОРОДА

Дзержинск — город молодой. Тридцать лет назад, 7 ноября 1929 года, в густом сосновом бору близ поселка Растяпино был заложен первый камень нового города. Сейчас здесь — Дом Советов. Перед ним — площадь. От площади расходятся улицы. Дома в четыре, пять этажей. Трамваи и автобусы идут к окраинам, где построены заводы.

А бор остался. Он окружает город со всех сторон. Он остался даже в центре Дзержинска. Вечером там играет оркестр, а над аллеями свешиваются цепочки разноцветных электрических лампочек. Это Парк культуры и отдыха.

Город нам не понравился. Может быть, потому, что была пасмурная погода, а может быть, потому, что мы проехали много других городов и невольно сравнивали их с Дзержинском.

В Дзержинске было все, что должно быть в хорошем городе, — ровные и широкие улицы, кудрявые бульвары и сады, нарядные витрины магазинов, красивые дома. Но все это оставляло нас равнодушными. Дома были одинаково красивы, бульвары одинаково кудрявы, витрины одинаково нарядны. И над всем — серые, скучные облака и чуть уловимый запах лаборатории.

Знакомые молодожены, у которых мы остановились переночевать, жили на четвертом этаже в маленькой комнатке. Они переехали сюда совсем недавно. Он из одного общежития, она — из другого. Оба инженеры, но очень молодые инженеры, и весь уклад их жизни был еще холостяцкий, студенческий.

В этот вечер они пировали. Не по случаю нашего приезда, а по случаю посылки из Одессы. На круглом столе, покрытом скатертью, стоял фанерный ящик со сливами, в банке — икра из синих одесских баклажанов, на газете — целая пирамида домашнего печенья.

«Дорогая доченька, — писал папа из Одессы, — в твоей комнате сейчас живет Сима, но если ты надумаешь вернуться, то Сима переедет к тете Паше. Позавчера опять приходила Люся и просила тебе написать, что в институте тебя ждут с распростертыми объятиями. И для Левы тоже найдется место. Он может поступить в аспирантуру университета. Мы с мамой все еще не можем привыкнуть, что ты живешь отдельно и нам не придется нянчить внука или внучку. У нас в Одессе сейчас очень хорошо. Каждое воскресенье мы уезжаем к Петрушенку в Люс-

дорф, и у нас просто сердце обливается кровью, когда мы думаем, что вы с Левого сидите в своем Дзержинске, не видите моря и не едите фруктов. Очень прошу тебя и Леву хорошенько подумать о предложении Люси».

Мы сидели за столом и ели одесскую домашнюю икру, сливы и мамино печенье. Окно было открыто, в комнату проникал скучный шорох дождя и чуть уловимый запах лаборатории.

Лева подошел к книжному шкафу и долго перебирал новенькие тома подписных изданий, пока не нашел среди них письмо от папы из Ленинграда.

— Все папы похожи друг на друга, — сказал он и, смеясь, прочитал нам письмо.

«Я думаю, что три года вполне достаточный срок для работы в провинции, — писал папа из Ленинграда. — Недавно заходил Костя Белоусов и говорил, что ты имеешь полную возможность поступить в аспирантуру технологического института. Тебя там хорошо помнят. Он говорил с Порай-Кошицем. А Наташу возьмут в НИИХИММАШ на проектную работу, и ей не придется целый день проводить в цехе. Дорогой Лева! У нас в Ленинграде сейчас так хорошо, что не хочется ехать на дачу. Мы с мамой каждый вечер выходим подышать свежим воздухом на Неву, и каждый раз думаем о тебе и Наташе, и сожалеем, что вы живете в каком-то Дзержинске, хотя имеете полную возможность приехать в Ленинград».

— Ну, и как, — спросили мы, — куда же вы вернетесь: в Одессу или в Ленинград?

— Зачем? — спросил Лева. — Чтобы кто-то устраивал меня и Наташу на работу?

Наташа сказала:

— Мне здесь очень интересно. Нигде так не будет интересно. А он уже второй год работает над своей темой. Здесь с ним считаются, он руководитель группы.

— Да и вообще, — перебил Лева, — если хотите знать, мы здесь взрослые, понимаете? Здесь нас уже не считают начинающими. Ведь мы работаем четвертый год. А в аспирантуру можно и в заочную.

— А сам город! — воскликнула Наташа. — Вы были на проспекте Чкалова? А видели Дворец культуры?.. Знаете, когда хорошая погода, у нас как в Одессе. Идешь по бульвару вечером — фонари, листья, а за деревьями окна и абажуры; и все это сквозь листья, и трамваи звенят... И одеваются у нас очень хорошо, ну совсем как в Одессе.

А на следующий день Наташа и Лева водили нас по городу.

Пошла с нами и черноволосая девушка Галя. Она только что вернулась из Москвы со всесоюзного совещания.

— На две недели уезжала, — говорила она, — а соскучилась, будто год здесь не была.

Мы ходили по тем же улицам и по тому же бульвару, по которому ходили вчера. И видели те же дома, и те же витрины, и те же фонари. Но в них появилось что-то такое, чего вчера мы не замечали.

Может быть, это было потому, что наши веселые попутчики то и дело кого-то окликали и их самих окликали тоже. А может быть, оттого, что солнце, выглядывавшее из-за облаков, освещало и разнообразило дома и деревья. А может быть, потому, что рядом с нами шли молодые и веселые люди, которые любили свой город и гордились им.

Это, наверно, их любовь и гордость украшали город так, как не могут его украсить ни дворцы, ни памятники, ни фонтаны.

РУБИН, САПФИР, АЛЕКСАНДРИТ

Нам приходилось видеть, как выращивают зеленый лук, телят, фруктовые деревья и породистых щенков, но мы никогда раньше не видели, как выращивают драгоценные камни.

В Дзержинске мы побывали на заводе, где выращивают кристаллы корунда.

Корунд — самый твердый после алмаза минерал в природе. Его применяют в часах и других точных приборах, из него делают резцы и иглы для проигры-

вания долгоиграющих пластинок. Корунд красного цвета — алого или темного, как кровь, — называют рубином. Если в гранях кристалла заключен голубовато-синеватый цвет безоблачного неба, его называют сапфиром. А есть и такие кристаллы, которые меняют свой цвет. Их называют александритами. Они то фиолетовые, то зеленоватые, то вспыхивают в них золотистые искры, будто весь солнечный спектр заключен в небольшом кристаллике минерала.

Все это — драгоценные камни. Драгоценны они не только потому, что очень тверды и в природе встречаются довольно редко, но еще и потому, что есть в них загадочная неизъяснимая прелесть, быть может, напоминание о миллионах лет грандиозной работы, которая неустанно ведется в недрах земли.

Конечно, можно простую стекляшку выкрасить в голубой или розовый цвет и вставить ее в браслет или перстень. Но она будет так же отличаться от настоящего рубина или сапфира, как искусственный цветок отличается от того, который вырос в саду или в поле.

И вот мы идем смотреть, как выращивают драгоценные камни.

Сначала ничего романтического: бесцветный порошок в бумажных мешках и ящиках, который много раз промывают дистиллированной водой, просеивают через сита и обжигают в печах. Этот порошок готовят из глинозема, из того же самого сырья, которое идет на выплавку алюминия. А промывают, просеивают и обжигают его, чтобы не осталось никаких примесей. Даже 0,0003 процента железа или 0,00005 процента мышьяка уже лишат минерал ценных качеств.

Романтика начинается дальше. Она начинается там, где длинными рядами пылают ослепительно яркие факелы. Температура такого факела превышает две тысячи градусов. Смотреть на него можно только через синее окошечко. За стеклышком виден длинный стержень и на нем маленький кристаллик. Это «затравка». Тоненькой струйкой в пламя сыплется

порошок окиси алюминия. Он плавится от жара, капает на «заправку», и кристалл начинает расти.

За час рубин увеличивается на восемь-десять миллиметров. Через пять-шесть часов он достигает веса пятьдесят-шестьдесят граммов, и тогда наступает самый ответственный момент. Если кристалл подержать в пламени еще пять-десять минут, он может стать больше, крепче и лучше, но может случиться и так, что он станет слишком хрупким и потеряет всю свою ценность.

Тоня Боровкова спокойно прохаживается вдоль ряда факелов. От пламени поблескивают стекляшки в ее клипсах.

— Какое там искусство, — отвечает девушка на наш вопрос, — привычка, и все.

Она небрежно поправляет завиточек русых волос, выбившийся из-под косынки, мельком поглядывает в одно окошечко, в другое, в третье. И вдруг напряженная, чуть встревоженная неподвижность.

— Сейчас, — говорит она и чего-то ждет. — Сейчас буду снимать, — и опять медлит, — сейчас... — И, увидев что-то, чего не видим мы, вытаскивает из-под факела длинный стержень. На конце его кристалл в форме пули.

Это александрит. Он медленно остывает. Мы ждем, пока остынет совсем, а потом берем его в руки. Он остыл, но не погас, будто внутри него осталось немного пламени.

Было в этом кристалле что-то пленительное, родное и радостное, но мы не могли тогда понять что.

Мы поняли это только на другой день, рано-рано утром, когда выехали из Дзержинска. Дорога вела через сосновый бор. Только что взошло солнце. На траве поблескивали капельки росы. Среди красноватых сосен вспыхнуло синее пламя пруда или озера.

И вдруг стало понятно, что больше всего пленило нас в виденных накануне кристаллах, — то были отблески утра, солнца, неба, росы и озер.

К Чебоксарам ехали по гладкому и широкому асфальтированному шоссе. Дорога то плавно поднималась, то опускалась с холмов. Она огибала дубовые рощи и заросли орешника, похожего на маленькие зеленые фонтаны. Широкие ивы разбросали свои легкие ветви и напоминали серебристые озера или облака, спустившиеся с неба.

Там, где не было леса, до самого горизонта яркой зеленью стлались поля гороха и кукурузы, желтые полотна пшеницы.

Замысловатым орнаментом тянутся вдоль дороги чувашские деревни. Дома небольшие, с маленькими окнами, и над ними выдвинуты вперед массивные крыши. Они как козырьки. От этого кажется, что дома смотрят на проезжих испытующе и настороженно.

Рядом с каждым домом, даже самым старым и маленьким, обязательно новые ворота. Почему это так, мы не знаем. Но все ворота — широкие, богатые, из добротного теса и покрыты железной крышей, ярко выкрашенной в зеленый или красный цвет.

На воротах резьба — цветы и листья. Такая же резьба на карнизах и наличниках окон. От этого вся деревня кажется пряничной.

Широколицые чувашки носят белые шаровары, которые ниже колен обмотаны полотном и крест-накрест перевязаны черными тесемками.

У чувашских стариков жидкие бороды клинышком и мудрые задумчивые лица.

В царской России чувашский народ был сплошь неграмотным. Половина населения болела трахомой. В первые годы революции здесь, на берегу Волги, два года подряд не родился хлеб. Вымирали целые деревни. Толпы беженцев разбрелись по стране.

Теперь здесь богатые колхозы, большие клубы, больницы, школы, на щедрых пастбищах — громадные стада, на отличных дорогах — много машин.

Чебоксары мы увидели с горы. Слева, у самой Волги, тесно сгрудились узкие улицы. Справа — новый город, многоэтажный, многооконный, еще не весь

оштукатуренный, похожий на все новые города, которые мы проезжали. Повсюду, как журавли, стоя на одной ноге, вытягивали шеи черные башенные краны. Широкие прямые улицы тянулись вверх, по склону холма, к корпусам новых заводов.

До революции в Чебоксарах жили всего шесть тысяч человек. Это был один из самых жалких и грязных городишек. А сейчас здесь завод электрических исполнительных механизмов, завод электроизмерительных приборов, электроаппаратный, хлопчатобумажный, тракторных запчастей, швейная фабрика и кожевенный комбинат.

В Чебоксарах три института, четыре техникума, четыре театра, двенадцать клубов. Строится телевизионная станция, новый театр на восемьсот мест и гостиница для трехсот человек.

В коридорах гостиницы мы встретили академиков и профессоров из Москвы, Ленинграда, Киева. Они приехали сюда на совещание, где речь шла о выпуске точнейших приборов, без которых нельзя было бы автоматизировать производство.

...Вечером мы гуляли по набережной Волги. Сюда приходят со всего города. Семьи. Влюбленные. Друзья.

Матовый свет фонарей мягко освещает старые ивы, скамейки, фонари, афишные тумбы и пеструю толпу гуляющих.

Противоположный берег — низкий. В сумраке он почти неразличим. Стоишь на обрыве — захватывает дух: такой простор, такой свежий ветер, такой бодрящий запах смоляных бочек, канатов, рыбы.

А на Волге гудят пароходы, светятся красные и зеленые огоньки, и вся Волга разукрашена их вздрагивающими отражениями.

ПУШКИН

Когда смолкали моторчики, мы слышали протяжный гул, какой бывает на лугах только в очень жаркие дни. Он был монотонный и в то же время ликую-

щий. Будто миллионы насекомых пели хором, и лишь один солист-жаворонок лихо высвистывал озорную песенку: «Дроби-дроби-дроби-бей».

Прячась от солнца в тени березовой рощи, расположилось большое стадо. Бородатый чуваш спал, высоко задрав коленки. Возле него, вытянув морду и хвост, лежала рыжая собака. Лениво шевеля мокрыми губами, дремали коровы. Их глаза были открыты, но блаженно слепы, будто коровы смотрели себе в утробу.

Не спал лишь парнишка, помощник пастуха. Он лежал в густой траве, и сначала мы заметили над травой только черный картуз и две босые ноги.

Он лежал на животе, подперев щеки руками и положив подбородок на резиновый мячик. Перед ним была книга.

— Что читаешь? — спросили мы.

Он поднял голову, и мы увидели лукавые раскосые глаза, большой рот, оттопыренные уши.

Мы появились перед парнишкой внезапно, в темных очках, с фотоаппаратом, в кожаных перчатках без пальцев, обычно вызывавших удивление. Но он нисколько не удивился, не спеша оглядел нас с головы до ног и спросил:

— Вы кто, туристы? Из Москвы?

Он сел, поджав под себя ноги, и стал похож на маленького мудрого Будду с мячиком в руках.

— Вот в Ленинграде я еще не был.

— А в Москве?

— Был. Всем классом ездили. Еще в том году. И в Чебоксарах был. Там у меня тетя. А вы на чем? На велосипедах? — Он тоненько и снисходительно свистнул. — Я себе мотоцикл куплю. — Потом, недолго подумав, добавил: — С коляской. — Потом невысоко подбросил мячик и сказал: — А может, «Победу»... Вы во Франции были? А в Италии? — Мы чувствовали, что он нас немножко презирает. — А я поеду. Теперь это очень даже просто. Плати три тысячи, и все.

Мы спросили:

— Где же ты возьмешь три тысячи?

— Подумаешь! — ответил он. — Три тысячи! Наш механик полторы загребает. А профессор — пять!

— Так то профессор, — сказали мы. — Чтобы стать профессором, тебе еще лет тридцать нужно. Ты в каком классе?

— В шестом. А вы не знаете, кто такой кардинал?

Мы подумали, что он хочет стать кардиналом, но оказалось, он читал «Овод».

— У нас в колхозе кладовщик, — сказал он. — Я его кардиналом зову.

— Почему?

— Не знаю. Похож. Что же вы с фотоаппаратом ездите? Почему кинокамеру не купите? Куда лучше. Крути себе ручку, и все. А потом будут в клубе показывать.

— Тебя как зовут? — спросили мы, прощаясь.

— Пушкин, — сказал он просто.

— Это что, фамилия или прозвище?

Он сказал:

— Пушкин, и все. Я зимой киномеханику помогаю.

Но нам было очень интересно, почему он зовет себя Пушкиным, и мы спросили, пишет ли он стихи.

— Да нет... Раньше писал. В пятом классе. А теперь бросил. Таланта нет.

— Так совсем-таки и нет? Ни к чему?

— Не знаю. К чему-то есть, а вот к чему — не знаю.

Он вышел на дорогу проводить нас. На откос взобрался с ловкостью обезьянки. Выбежав на асфальт, подтянул штаны и поправил картуз. У него была продранная на плече рубашка, и голое плечо торчало острым пенечком.

Мы сели на велосипеды. Он сказал:

— Пойдите. Какие у вас в Ленинграде есть техникумы?

А когда мы поехали, он долго стоял на дороге, глядя нам вслед, — маленький и самоуверенный, твердо убежденный, что будет жить лучше, чем живем мы.

РЫЧАГИ, КОЛЕСА, ЗЕРКАЛА

Если едешь на велосипедах с утра до вечера день, неделю, месяц и все перед тобой меняется — дорога, поля, реки и леса, то особое значение приобретают те предметы, которые остаются неизменными.

Неизменными остаются: колеса с маленькими красными флажками над ними, сверкающие металлические банки с черными пупышечками на крышках, круглые зеркала на длинных стерженьках, рули, их рукоятки и слитые с ними руки в черных перчатках с отрезанными пальцами, и рычаги, прикрепленные к рулям: слева — рычаг сцепления, справа — рычаг переднего тормоза.

Эти рычаги, как острые бычьи рога, бесстрашно устремлены вперед и врезаются в воздух.

Нажмешь правый рычаг — велосипед упрямится и будто прилипает к дороге. Нажмешь рычаг с левой стороны — мотор взывает истошным гулом, и велосипед замедляет бег.

Когда мы смотрим на свои полуодетые перчатками руки, в саדיнах и царапинах, нам кажется, что эти руки в такой же мере принадлежат нам, как и велосипедам.

Они сами знают, когда надо нажать тот или другой рычаг, повернуть рукоятку вправо или влево. Мы еще не успеваем сообразить, что впереди рытвина, как пальцы левой руки уже тянутся к рычагу сцепления, а правая рука, будто по собственной воле, опережая сознание, поворачивает рукоятку газа, и отданный ею приказ бежит по тонкому тросику к мотору, и велосипед замедляет бег, а переднее колесо легко и мягко очерчивает профиль дороги.

Передние колеса — это наши разведчики. Смотришь на колесо — и не чувствуешь быстрого движения. Наоборот, кажется, что черная шина осторожно и не спеша ощупывает дорогу, сантиметр за сантиметром.

Когда колеса вздрагивают, вздрагиваем и мы, когда им плохо, плохо и нам. Колесо рассказывает

о дороге бесконечную повесть — о каждом камне, каждом бугорке, каждой выемке. И оно бежит и бежит, выносливое, красноречивое и настороженное, иногда на секунду замирая перед препятствием, иногда делая рывок вперед, и снова бежит дальше наш надежный, неторопливый и смелый друг.

А зеркала? Если чуть податься влево, можно увидеть в зеркале свое лицо. Только свое ли? Такое оно загорелое, потное и грязное!

Но если не подаваться влево, а только чуть-чуть скосить глаза, то в зеркалах нам видится черная полоса асфальта. Иногда в далекой перспективе шоссе возникают фигурки товарищей на велосипедах, а еще дальше — лес и небо. Потом далеко-далеко появляется машина. Она нагоняет нас, и вот уже ее сердитая морда как будто насаждает на спину, и снова — дорога, лес и небо и все то, что остается навсегда позади.

ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

19 июля. Гостиница «Казань».

Задолго до Казани перед нами возникла тонкая поблескивающая игла телевизионной мачты. Она была все время впереди как ориентир, и чем ниже опускалось солнце, тем ярче она блестела.

Казанский кремль мы увидели на фоне огненного заката. Он появился внезапно, как сказочный остров Буян: белые стены, пестрые терема, золотые маковки церквей.

* * *

Советы начинающему путешественнику:

Отправляясь в путешествие, обязательно верь, что в любом месте, где тебя застанет ночь, ты найдешь ночлег и ужин.

Будь уверен — любая поломка велосипеда или двигателя поправима. Не сумеешь исправить сам, помогут другие.

А рассказам друзей об ужасных трудностях, ко-

торые тебя ждут в дороге, не верь. В действительности все окажется легче.

* * *

Гостиница здесь громадная и бестолковая. Швейцар нас не хотел пускать, потому что мы слишком грязные и от нас пахнет бензином. «Сюда приезжают иностранцы, и таким, как вы, здесь не место». Потом нас почему-то переводили все время из одного номера в другой. Мы платили за сто двадцатую комнату, а жили в двести сороковой (лучшей), потом жили в сто восемьдесят восьмой, а платили за девяносто седьмую (худшую).

* * *

Интересна история открытия нефти в Татарии. В шестидесятых годах XIX века бугульминский помещик Малакиенко пробурил скважину глубиной в семьдесят пять метров. Нефть не обнаружили, и помещик вскоре разорился. В начале XX века здесь искали нефть иностранные фирмы Шандорма и Нобеля, но тоже ничего не нашли.

В 1918 году русские геологи пробурили несколько скважин и, придя к выводу, что промышленного значения местная нефть не имеет, прекратили поиски.

В 1929 году в Чусовских городках искали калийную соль, и вдруг забил мощный фонтан нефти. Через три года нашли нефть в Ишимбае, потом ближе к Волге, на Самарской Луке. В 1940 году началась эксплуатация богатейшего Бавлинского месторождения в Татарии, а в 1948 году недалеко от Бавлов, в деревне Ромашкино, было открыто крупнейшее в мире месторождение нефти.

* * *

Еще один совет начинающему путешественнику.

Как бы ни была скучна дорога, верь, что за поворотом тебя ждет что-то очень интересное, а если там не окажется ничего интересного, то не огорчайся и будь уверен, что это интересное ждет тебя за следующим поворотом.

До того, как устроились в гостинице, заезжали на почтамт. Провели там много времени. Караулить велосипеды оставили Володю. Как и во всех других городах, прохожие сразу же столпились вокруг наших машин. И опять те же вопросы, что повсюду. Мы их уже знаем заранее: 1) Это велосипеды или мотоциклы? 2) Для чего никелированная банка перед рулем? 3) Сколько бензина вмещает бак? 4) Какая средняя скорость? 5) Кто мы, гонщики или испытатели? 6) Откуда и куда едем? 7) Когда выехали из Ленинграда?

Отвечать на одни и те же вопросы очень надоело, и мы установили дежурства. Это нелегкое дежурство, особенно в большом городе. Толпа вокруг велосипедов все время меняется: одни подходят, другие уходят, и каждый спрашивает одно и то же.

Объяснив раз пятнадцать, что это не мотоциклы, а велосипеды, что мы не гонщики и не испытатели, что баки вмещают по девять литров бензина, Володя, наконец, взмолился:

— Товарищи! Я уже больше не могу. Не обижайтесь.

Все смеялись, только один парень в ковбойке и с папкой под мышкой обиделся:

— Если не хотите отвечать, так незачем было и ехать!

Но тут подошел важный старик и как ни в чем не бывало спросил:

— Это что же, велосипеды или мотоциклы?

Тяжелая обязанность удовлетворять любопытство прохожих!

21 июля. Кама.

Эту запись делаем на пароме. Переправляемся через Каму из Сорочьих Гор в Алексеевку. Противоположный берег едва заметен. Плыдем на большой барже, которую тащит маленький буксир. За бортом — волны с белыми гребешками. Совсем как в море. Баржа заставлена автомобилями. Наши ве-

лосипеды втиснуты, как в коридор, между громадными «МАЗами». На дорогах эти большие машины — наши злейшие враги. Они все время норовят или спихнуть нас в кювет, или обдать пылью, или обрызгать грязью. А здесь мы уживаемся мирно. Велосипед Германа трогательно прислонился к колесу одного из этих дорожных великанов.

Дверцы кабин раскрыты. Шоферы завтракают, расстелив на сиденьях газеты. В одной кабине видим фотографию девушки. Любимая? Дочь? Прекрасная дама?

Пожилой небритый толстяк — водитель этой машины — на наш вопрос не ответил, только многозначительно подмигнул: мол, это уж дело мое! — и перочинным ножом отрезал прозрачный розовый ломоть от куска домашнего шпика.

У борта стоят люди, не спеша говорят о Каме.

— Не так чтобы очень была здесь широкая... — говорит парень в тельняшке. — Вон там, видите, островок? Так это он теперь стал островком, а раньше был берегом. Теперь здесь кругом отмели. А когда ненастье, поглядели бы!.. Волны — во! Только держись! Тут труднее плавать, чем в море. Не верите?..

* * *

Прошлую ночь провели в деревушке Полянки, в двенадцати километрах от Сорочьих Гор. Ночевали у стариков Григорьевых — Григория Ивановича и Дарьи Андреевны.

Когда-то в этой деревне протекал маленький ручеек, а сейчас здесь широкая река, которая еще не имеет названия. Она появилась после того, как было создано Куйбышевское водохранилище.

Старуха весь вечер лежала на печке и с непонятной гордостью говорила, что она за всю жизнь нигде не бывала, кроме как в своем селе. Она упрямо называла эту деревушку селом, потому что здесь есть церковь (хотя попа никогда не было, его приглашали только на праздники).

— А вот Сорочьи Горы, — учила она, — надо

называть деревней. Хотя там дворов в пять раз больше; но церкви никогда не было.

Старик слушал ее снисходительно. Он-то бывал всюду.

Григорий Иванович — участник трех войн, кавалер ордена Славы. Ему шестьдесят шесть лет. Он выписывает областную газету и всем интересуется.

О своем колхозе Григорий Иванович говорил нехотя:

— Так себе колхоз, бывают и получше, хотя возможности очень большие.

Зато он охотно говорил об искусственных спутниках, о том, что когда-нибудь химия полностью вытеснит сельское хозяйство, и о том, что ни на «ТУ-104» и ни на каком другом самолете пока еще летать ему не приходилось.

Все это он говорил, подшивая валенки. Валенки в избе было много. Наверное, он подшивал их для всей деревни.

22 июля. Привал на берегу Кичуя.

Сразу за переправой начались холмы. Дорога трудная. Под колесами крупные булыжники. Местами дорога совсем разбита, и мы скачем через выбоины и рытвины.

— Приезжайте через год-два, — говорит дорожный мастер. Он стоит на телеге и красит километровый столб, — будет и здесь асфальт.

А пока мы трясемся, крепко ухватившись за рули. Много поворотов и подъемов. Все время надо то увеличивать газ, то уменьшать. Переднее колесо, натываясь на камни, то и дело пытается вильнуть в сторону. Через час руки деревенеют. Мы устали так, будто весь день кололи дрова.

Иногда видишь перед собой большую рытвину, которую не объехать, и тогда готовишься к прыжку: откидываешься назад, ослабляешь руки, мысленно произносишь: «А ну!» Машина делает рывок, на секунду чувствуешь, что ты в воздухе, и сразу же наклоняешься вперед.

* * *

Только что выкупались. Долго любовались рыбками. У пескарей большой и усатый рот, как у сомов. Спинки — серенькие, в крапинках. Когда смотришь на пескаря сбоку, то кажется, что это та же вода, только поплотнее. Пескари тычутся в ноги и щекотно сосут пальцы. Пробеуешь их ловить руками, но они со скоростью пули вывертываются из-под пальцев. Иногда подплывают плотички. У них изящная маленькая голова и голубые глаза. Плотички осторожны. Они долго стоят как бы в раздумье, а потом, грациозно сверкнув белым брюшком, уплывают.

* * *

В полдень проехали город Чистополь. В этом городе большой часовой завод. На нем работает много молодежи. Завод славится культурой производства. Почти вся молодежь учится в общественном университете технической культуры. Есть два факультета: сборочный и механический. Каждый месяц устраивают праздник труда.

КУЙБЫШЕВСКОЕ „ЧУДО“

На окраине Чистополя — роскошная зелень кладбища и большая церковь. Шоссе жило обычной жизнью — проносились грузовики, легковые машины, мотоциклы. Франтоватый инспектор ГАИ, остановив автобус, разговаривал с водителем. Девушки с лопатами на плечах стояли на обочине, весело «голосуя». Это был реальный мир. Здесь все было понятно и привычно.

А слева — кирпичная арка ворот с крестом и иконой. И там все как на сцене. В пыли сидели нищие и калеки, театрально выставляя напоказ свое убожество. Долговязый малый с редкой бороденкой и длинными нечесаными волосами изображал юродивого и напевал что-то божественное. Маленькие старушки с личиками сморщенными, как сушеные грибы, в длинных черных юбках и черных платках,

подвязанных под острыми подбородками, шушукались. На их лицах можно было прочесть страстное ожидание если не чуда, то хотя бы скандала.

Но, пожалуй, интереснее всего были старики. Они стояли чуть поодаль, все бородатые, важные, в расстегнутых пиджаках и рубашках навыпуск, опоясанные кушаками. И на всех — суконные картузы, какие мы видели только в пьесах Островского.

Все это было ненастоящее. И одежда какая-то ненастоящая, слежавшаяся, будто вытасченная из костюмерной. И за бороды хотелось подергать — не верилось, что они не приклеенные.

Из церкви доносилось пение, а на паперти и у боковых дверей ходили с места на место, разговаривали. Когда возле ворот остановились наши велосипеды (мы хотели узнать, что за праздник), то многие из верующих, позабыв о господе боге, отвернулись от церкви и с любопытством стали разглядывать нас и наши машины.

Маленькая горбатая бабка, вся в черном, с посохом, с ищущими глазами, спросила:

— Откуда, сынки?

Мы ответили.

— А в Куйбышеве бывали?

— Нет, — сказали мы, — не пришлось.

— А про чудо-то куйбышевское, может, слышали?

Она села на скамейку возле ворот, поставила посох между колен, оперлась на него и торопливо рассказала нам о куйбышевском «чуде».

— Там в одном доме собрались, значит, на вечеринку. Ну, девки танцуют под гармошку, а у одной вроде бы пары не оказалось. Парень-то ее гармонистом был. А она — девка бедовая, сняла икону Николая-угодника, взяла ее вот так, прижала к груди и ну вертеться. И вдруг встала как вкопанная... Ни рукой, ни ногой не пошевелит. Видят, что живая, смотрит, а ни с места, и икону в руках держит. Хотели икону отнять, а никак! Ну, пришла тут милиция и стали пол рубить, чтобы ее вместе с доской унести в больницу. А из пола-то

кровь так и брызнула! Чуть не два месяца стояла... Вот уж врать не буду. Сказывают, ее голуби кормили.

Увидев сомнение на наших лицах, бабка воровато поерзала на скамье, немножко подумала и сказала:

— Не верите? Вон хоть у председателя спросите? — И она крикнула рыжеватому мужчине, лет тридцати, в соломенной шляпе и с портфелем, который деловито проталкивался через толпу: — Поди сюда, Петрович! Вон сынки куйбышевскому чуду не верят.

Мужчина был похож на колхозного бухгалтера или заведующего сельским магазином. Но оказался старостой церковной двадцатки.

— Это что ж, — спросил он, подойдя к нам, — велосипеды или мотоциклы? — и, даже не взглянув на бабку, стал расспрашивать, откуда и куда мы едем.

А бабка поджала сухие губы и сидела маленькая, черная и злая, выскивая в толпе, кому бы еще рассказать о куйбышевском «чуде».

ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

23 июля. Привал на тридцатом километре за Альметьевском.

Сегодня во второй половине дня попали в край горящих факелов — в страну нефти. Она началась сразу, будто мы переступили какой-то невидимый рубеж. Под колесами снова гладкий асфальт, а вокруг — на покатых склонах холмов — нефтяные вышки и факелы.

Факелов много. Кажется, будто кто-то разжег кругом маленькие костры.

Мы спросили: что это за факелы?

Нам объяснили: каждый факел горит возле действующей скважины. Это сжигают газы, которые выходят из недр земли вместе с нефтью. Через несколько лет, когда здесь построят новые химические заво-

ды, из этих газов будут делать много полезных вещей. А пока факелы пылают днем и ночью как обещание будущих благ.

* * *

Старший из нас до войны бывал в Баку. Район нефтепромыслов там называли Черным городом. Теперь мы в другом районе нефтепромыслов, в новом городе нефтяников — Альметьевске. Его хочется назвать Белым городом.

Альметьевск начали строить всего шесть лет назад. Здесь прямые и широкие улицы, очень светлые дома, много цветов и деревьев. Здесь нет ни ворот, ни дворов — возле каждого дома чистая площадка или садик. И повсюду гуляет солнце.

А вечером зеркальные витрины магазинов освещены неоновым светом и вереницы фонарей призрачно отражаются в асфальте.

* * *

Прямо на земле стоит маленькая белая цистерна. Возле нее изогнутые трубы с большими вентилями. Очень чисто. Тут же клумбы. Цветы. Дорожки посыпаны песком. Так выглядят действующие нефтяные скважины. Днем и ночью бьет из-под земли нефть. Ее собирают в серебристые цистерны и посылают по трубам в разные стороны. Нефтепроводы ведут из Альметьевска в Горький, Казань, на восток, за Уральский хребет.

* * *

В Альметьевске нам посоветовали побывать в бригаде Моржавина.

Моржавина мы разыскать не смогли. Он куда-то уехал. Вместо него к нам подошел буровой мастер, молодой инженер Владимир Владимирович Маторин. На нем был мокрый резиновый плащ с капюшоном.

Маторин был явно недоволен нашим появлением и, нехотя отвечая на вопросы, все время поглядывал в сторону вышки.

Из скважины высоко вверх поднимался фонтан мутной вонючей воды. Вода с головы до ног окаты-

вала людей, которые работали в плащах и капюшонах.

Маторин сказал:

— Сифон.

Это значит, что бур достиг слоя воды, которая под большим давлением вырывается наружу. В скважину приходится нагнетать жидкий бетон, который застывает и образует пробку. Пробку надо пробурить снова, и тогда получается бетонная труба. Она своими стенками сдерживает напор воды. А пока насыщенная сероводородом вода все хлестала и хлестала из скважины, и буровики работали, как матросы во время шторма.

— Ничего, — сказал Маторин, — через час справимся. Вы стойте здесь, а я пойду помогу! — И он оставил нас возле вышки, а сам торопливо стал взбираться вверх.

ЛЕГЕНДА О РУБАШКЕ

Вечером остановились в татарском селе Ырыклы. На улицах горели электрические фонари. Они казались бледными, потому что высоко в небе сверкал остророгий, как на восточных картинах, серп полумесяца.

Село было наполнено негромкой музыкой. Она просачивалась из каждого дома; казалось — звучали стены, силуэты деревьев, антенны над крышами.

Через раскрытые окна мы видели комнаты, украшенные коврами, вышивками, пологам. Там было много пестрых тканей. Комнаты напоминали кочевые кибитки или шатры.

Люди сидели возле своих домов на скамеечках, стояли у ворот, скрестив руки. Девушки шептались, парни ездили на велосипедах, и все, завидев незнакомых людей, вежливо здоровались.

Женщины здесь в светлых передниках поверх ярких платьев. Головы повязаны длинными белыми платками, спускающимися на спину.

Мы шли из улицы в улицу, и всюду — те же

приглушенные звуки, белые платки, сдержанный разговор и мягкий вечерний покой.

Вдруг прокатилась по селу дерзкая девичья песня. И сразу стало шумно и весело. Возле сельсовета остановился грузовик с красным флагом над кабиной. В кузове, держась друг за друга, стояли девушки. Это доярки привезли большие бидоны молока. Они приехали с пастбищ, где круглые сутки пасется колхозный скот.

Потом мы прошли мимо школы-десятилетки и большого клуба. Окна клуба были распахнуты настежь. В пустом зале — красные ленты лозунгов на татарском языке. На сцене — ярко намалеванные матерчатые деревья, подпертые досками. Там двое парней стояли друг перед другом и нараспев произносили стихи. Один из них, в галстук и шелковой рубашке, старчески согнулся и неправдоподобно трясся от немощи. Его голова была повязана полотенцем, как чалмой, а редкая бороденка отрывалась и падала на пол.

Ночевали в доме колхозника-пенсионера Кияма Гимадеевича Гимадеева. Ему семьдесят четыре года. Он высокий, худощавый, седой, в старенькой тюбетейке. Куда бы он ни шел, за ним топала черноглазая и чернокосяя пятилетняя внучка Гюльсум.

В доме старинные медные кувшины с длинными горлышками и радиолка новейшей марки.

Нас угощали лапшой с кислым молоком и мадерой из массандровских погребов.

После ужина старик отвернулся к окну, молитвенно сложил ладони и деловито пошевелил губами, а его сын, тихий и неторопливый Ахмет, предложил нам посмотреть свежий номер «Правды».

То и дело старик звал нас во двор, и, когда мы выходили вместе с ним, он заговорщицким шепотом просил папироску. Он курил, как мальчишка, опасно поглядывая на дверь дома; увидев сына, торопливо зажимал папироску в кулаке и лукаво объяснял, что врачи ему запретили курить и он уже полгода как бросил «эту гадость».

Мы сидели с ним на бревнах возле ворот, ярко

светил месяц, в гору поднималась дорога, тяжелые тени ив лежали между домами.

— У меня два сына, — говорил старик, — оба партийные. Я коммунистов уважаю. Тридцать лет их уважаю. С тех пор как вступил в колхоз. Приехал тогда из Казани к нам коммунист. За колхоз агитировать. Роста небольшого, в солдатской шинели, лицом худой, а говорить мастер. Собрал он нас на собрание: так, мол, и так, вступайте в колхоз! Ну, тут, конечно, шум: одни хотят, другие нет. Чуть до драки не дошло. А был у нас один батрак, самый бедный из всех бедняков. У него ни дома, ни коровы — ничего не было. Одни портки да рваная шуба. Он в той шубе и зимой и летом ходил. Выскочил он перед народом и говорит: «Как же, дурья твоя голова, в колхоз меня зовешь, когда у меня даже рубашки нет? Нечем брюхо прикрыть!» И шубу нараспашку. А там — одни портки. И что бы вы думали? Снял с себя тот коммунист рубаху. «На, — говорит — заработаешь — отдашь!» И надел шинель на голое тело. Так и уехал. Вот какой был коммунист!

— Как его фамилия? — спросили мы.

— Фамилии не помню, — сказал старик, — а самого его очень хорошо помню. Сыновьям про него рассказывал и внучке расскажу. Рыжеватый такой, скуластый, а на груди — рубец наискось. От сабли, наверно.

БУГУЛЬМА. ДЕТСТВО

Младший из нас всю дорогу сочиняет стихи и распевает их во все горло на разные мотивы.

В Ленинграде у него осталось много друзей: друзья по ремесленному училищу, друзья по заводу, друзья по техникуму, друзья по литературному кружку, друзья-девушки, друзья-парни, друзья-старики, друзья-старушки. И всем он обещал писать. На каждом привале, как только он клал на место гаечный ключ, так сразу же брался за самопишущую ручку.

Он часто говорил о Бугульме, где жил двенадцатилетним мальчиком.

Что он помнил о Бугульме?.. Крутой песчаный обрыв, поросший соснами, большой театр в центре города, острый шпиль над четырех- или пятиэтажным домом, где были ресторан и кинотеатр, красную кирпичную школу, баню в овраге и улицу, на которой он жил, — широкую, в голубых палисадниках и со скворечниками над крышами.

И еще помнил свою тогдашнюю мачеху — грузную, с могучими руками, которыми она таскала в сарай тяжелые бревна, заготавливая дрова на зиму, злого, всегда дергавшегося Митьку и девочку лет шести — толстую и хитрую.

Как найти ту улицу? Он забыл ее название, не знал, в какой она части города, он знал только, что там желтый обрыв; скворечники и тропинка, которая ведет к бане.

Решили искать от центра: от театра и дома со шпилем.

Асфальтированное шоссе было забито грузовиками. Долго тянулся глухой забор лесоторгового склада, потом — какой-то небольшой завод; потом пошли двухэтажные дома. Но пока еще ничто не напоминало прошлого. Оно жило само по себе, разорванное и тревожащее...

«Тогдашние брат и сестра не обижали меня. Они побаивались отца. Как-то Митька привел старого пса, ободранного и голодного. А у нас в корыте отмачивалась требуха. Пес набросился на нее, и ничего не осталось. Мачеха потом била Митьку, девочку и меня. Мне было очень обидно, что бьет чужая женщина. Вечером отец сказал: «Своих бей, а моего не трогай. Ударить — уйду».

Отец был невысокий, с мясистым пористым носом. После сильных попок у него опухало лицо и глубокие морщины около рта становились еще глубже и отчетливее. Трезвый он был весел и любил петь под гитару. Он работал сварщиком на строительстве какого-то завода, а по вечерам вы-

ступал на концертах в Бугульминском театре, пел и играл на рояле...

До войны я видел его всего один раз. Он пришел как чужой и принес мне шоколадных конфет. Мать плакала и уговаривала его остаться дома. «Всю жизнь ты бродяга, — говорила она. — Так мы с тобой и не прожили вместе». Отец сидел молча, а на следующий день он уехал.

После ее смерти он говорил: «Никто не знает, как я виноват перед твоей матерью».

Она умерла во время эвакуации из голодного Ленинграда. Больше всего она запомнилась мне на берегу Невы, возле пятой ГЭС. Нева еще не замерзла, а берег был уже в снегу, и мать везла меня на саночках, и каждый раз, когда раздавался взрыв и на Неве взлетал фонтан воды, она пригибалась, но продолжала идти, маленькая, согорбленная, в ватнике и легких открытых туфлях. Мы остановились возле убитой лошади, которая лежала на дороге, еще впряженная в воз с сеном. Мать присела возле меня на саночки, на ее белом лице поблескивало пенсне. Она достала из газеты три тонких блина из детской муки «Нестле», и до сих пор мне кажется, что это самое вкусное из всего, что я когда-нибудь ел.

Еще я помню какую-то железнодорожную станцию. Ночь. Огромная очередь возле вокзала. Там стояла мать, и я ждал ее. Со мной была какая-то чужая тетка. Она боялась, что поезд уйдет без нас. А потом мы увидели, как мать бежала к нам, закутанная в платок. Не добежав, споткнулась и рассыпала те сто граммов сахарного песка, которые выстояла в очереди. Мы ползали на коленях по черным жирным шпалам, собирая просыпанный песок, смешанный с землей и грязным снегом.

Потом я помню товарный вагон. Валом наваленные мешки, сундуки, чемоданы. На них сидят люди, пьют кипяток из больших чайников. Сильные рывки поезда. У железной печурки все время слетает труба. Мать вылезала на коротких остановках и уходила с нашими вещами. Она уносила то свой платок, то мою рубашку и возвращалась с солеными

огурцами и вареной картошкой. И каждый раз она говорила: «Приедем к отцу — будешь есть пироги». Отец писал, что у него много муки и там хорошо живут.

И вот мы в Ишимбае, у отца. Большая бревенчатая комната. Раннее утро. На кровати лежит мать. На белой подушке ее очень белое лицо. Она без пенсне, и у нее какие-то непривычные беззащитные глаза. А над головой на стене — связка бубликов. Она умирала от дистрофии.

Когда она умерла, отец стоял, опустив голову, взъерошенный, небритый, в измятом костюме, совсем трезвый. В тот день он говорил со мной, как со взрослым. «Я же совсем не знаю твоей матери. Мы прожили с ней двадцать лет, но почти не были вместе. Только сейчас мы могли бы начать жить — бросил бы водку, стал зарабатывать...»

У него тогда было очень много денег. Я помню, что он раздавал их всем. Деньги вываливались из кармана, и он не поднимал их. А потом пришел в шинели с рюкзаком, попросил у хозяйки сухарей и сказал: «Продайте его пальто, купите ему поесть и проводите в детдом».

На центральной площади Бугульмы, где стоял театр, мы увидели большое и красивое здание с колоннами. А старый театр казался небольшим и похожим на все другие театры, построенные в прежние времена в маленьких городах. Тут же, на площади, заметили и дом со шпилем. И дом и шпиль были ничем не примечательны.

Мы остановились на площади, и младший долго осматривался, пытаясь вспомнить, в какую сторону надо ехать дальше. Ему было трудно восстановить тот масштаб, которым он прежде измерял и эту площадь, и эти улицы, и весь город.

«Детский дом помещался в старой казачьей крепости. Он стоял на горе, а под горой был татарский аул Апсалямово и протекала узкая извилистая речушка Ик. Там мы ловили рыбу и устраивали драки.»

Перед сном сдвигали двенадцать коек и рассказывали сказки, и о своих похождениях, и о том, как жили до войны. Рассказывали и то, что было, и то, чего не было. И всему верили. Я, например, рассказывал, что в Ленинграде нельзя опустить с панели ногу — сразу отдавит, так много там машин. И все верили. А кто-то рассказывал, что он сын генерала и дома вместо хлеба ел шоколад. Тоже верили.

По ночам к детдому подходили волки. Мы слышали их вой. Иногда они забирались в хлев. Испытывая нашу смелость, старшие ребята посылали ночью маленьких за вишнями. Вишни росли под горой, в километре от детдома.

Когда я только приехал, меня вызвал директор и спросил: играют ли ребята в карты? Я сказал, что играют. Поздно вечером двое старших парней позвали меня на чердак. Там были свалены ржавые поломанные кровати, протыканные тюфяки с гнилой соломой, все покрыто пылью и затянута паутиной. За маленьким окошком светила луна. Верхом на бревне, друг против друга, сидели парни, а меня посадили между собой. «Ты еще, конечно, малаяк, — сказали они, — наших порядков не знаешь. Будешь продавать, так имей в виду, вот этой бритвой вырежем на лбу метку». Такой меченый у нас был. У него была метка на носу. Называли его Дульщиком. Он был косолапый, с плаксивым старческим лицом. Его все били — и маленькие и большие.

Мы не любили своих воспитателей, любили только одну. Мы полюбили ее так. Нам очень нравилась песня «На позицию девушка провожала бойца». Мы знали начало этой песни, только один куплет. А пели ее долго, без конца повторяя одни и те же слова. Однажды вечером к нам вошла новая воспитательница. Она была очень молодая, тоненькая, в голубом платье. Она слушала у дверей, как мы поем, и спросила: «Спеть вам ее полностью?» И спела. Тонким тихим голосом. И мы полюбили ее и никогда не обижали.

В этом детдоме я провел четыре года. После войны за ребятами стали приезжать родители. День

приезда был праздником для всех. Каждому казалось, что это приехали за ним. А потом несколько дней все ходили притихшие. Не было ни драк, ни крика, ни возни.

Однажды я забрался в колючий кустарник, где рос дикий лук. Его корни были сочные, ароматные, вкусные. Вдруг кто-то закричал: «Иди, отец приехал!» Я хотел бежать, но почему-то пошел шагом. Медленно и нерешительно. Я не верил и боялся.

Отец был в полушубке, чисто выбрит. Он очень постарел. Рядом с ним стояла какая-то толстая женщина с корзинкой в руках. Отец сказал: «Ну, здравствуй... Она будет твоей мамой». Мы сидели на бревнах рядом с баней, на склоне горы. Женщина вынула из корзинки два вареных яйца и домашнюю булку. «Ешь, — сказала она, — не стесняйся». Вокруг стояли ребята, смотрели, как я ем. Тогда женщина достала несколько кусков хлеба и раздала их ребятам. «Ну, веди меня к воспитателю», — сказал отец.

Из детдома мы уходили через старые чугунные ворота. Было жарко. На воротах сидели мальчишки, и каждый раз, когда я оборачивался, они молча и невесело махали руками».

На площади мы долго стояли, и младший пытался вспомнить, в какой стороне был тот дом, где он жил. Ему показалось, что ехать надо направо, и мы свернули на какую-то улицу, изрытую канавами и заваленную черными трубами.

За палисадниками горели маки. Возле водопроводной колонки судачили женщины с ведрами. Дети играли среди развороченной земли.

Иногда младшему казалось, что он узнает эту улицу, иногда он говорил: «Нет, не то!»

«Отец для меня всегда был загадкой. Он был артистом и сварщиком. Когда мальчишки спрашивали: «Кто твой отец?», я отвечал: «Он поет». И это была правда.

Как-то, помню, к нашему дому в Бугульме подкатили сани. Отца завернули в полушубок и с по-

четом во весь дух покатали в театр на какой-то праздничный концерт. Я был очень горд.

Но помнится и такое: осень, холодно и грязно. В дом вошла незнакомая женщина и сказала маме: «Иди, там Мишка валяется!» Я пошел тоже. Отец лежал на дороге, свесив голову в канаву и подвернув правую руку под бок. Он был без шапки. Извалянное в грязи полупальто, ботинки не зашнурованы. Он выглядел жалко и гадко. Мы тащили его волоком. Мачеха громко, чтобы слышала вся улица, говорила: «Я его одела, я его кормлю, а он, паскудник, по канavam валяется».

Через несколько дней мы ушли из дому, как воры. Отец нес под мышкой сверток, в нем были хлеб и сало, еще он прихватил пару своих рабочих ботинок. Больше ничего не было ни у него, ни у меня. Моросил дождь, было холодно. Отец говорил: «Ты не бойся, дом мы найдем, нас всюду примут». Но я понимал, что он так же не знает, куда мы идем, как и я.

А потом какая-то деревня. В избе тепло. На столе самовар, сковорода с жареной картошкой, деревянные ложки. Напротив отца немолодая женщина с добрым, жалостливым лицом. Они с отцом сидят уже долго, и он ей рассказывает про себя, и я вижу, что им хорошо вместе.

Я лежу на печке, рядом — сын хозяйки, такой же мальчишка, как и я. Мы оба свесили головы вниз, слушаем, и мне очень странно, что я здесь, в этой чужой избе, и что в первый же вечер отец говорит с незнакомой женщиной так, будто знает ее много лет.

Здесь мы остались. Отец рано утром уходил на покос; а вечером всегда был чем-то занят: ремонтировал изгородь, подшивал валенки, паял кастрюли. Нам было хорошо. Все были довольны: и отец, и эта женщина, и я. Но иногда, ни с того ни с сего, отец клал руку на мою голову и говорил: «Ты не тоскуй, скоро в Ленинград поедem». И я понимал, что тоскует он.

Как-то вечером отец сидел у печки и, подшивая

валенки, пел: «Раскинулось море широко». Он пел тихо, не спеша, часто останавливая песню, чтобы затянуться самокруткой. Новая мачеха стирала белье, заткнув за пояс передник. Иногда, оставляя мыльные руки в корыте, она поворачивалась и нежно глядела на отца, будто удивляясь и не веря своему бабьему счастью.

Кто-то постучал в окно и крикнул: «Пелагея!» Мачеха выглянула, пошенталась с кем-то, а потом сказала упавшим голосом: «Михаил, к тебе баба пришла!» — и, когда отец вышел, мачеха глядела ему вслед, опустив руки, ещё мокрые и в мыльной пене.

Мы ушли в ту же ночь. Мы шли по лесу в темноте, часто спотыкаясь. Отец и прежняя мачеха всю дорогу молчали. Они держали меня за руки, сжимая мои ладони так, будто все дело было во мне, будто что-то обещали мне и за что-то просили прощения.

Потом опять мы жили в Бугульме, но недолго, и снова ушли без вещей и неизвестно куда.

С тех пор все мои воспоминания связаны с дорогами. То мы едем из поселка в поселок, то из горда в город, то перебираемся с одной стройки на другую. Я не знаю, почему отец не оставался на одном месте. Мне казалось, что все его любили. Где бы мы ни жили, в нашу комнату всегда приходила молодежь, пели песни, танцевали, слушали веселые рассказы отца, а когда у нас не было денег, гости приносили пироги, яйца, кто что мог. Тогда он совсем не пил. Он работал то сварщиком, то печником, то артистом, то кровельщиком. Иногда говорил, что хочет написать книгу, которая будет называться «Со дна» — о том, как он выбрался из беспробудного пьянства, которое погубило всю его жизнь и жизнь моей матери.

Однажды отец устроился прорабом на какой-то стройке, и нам дали хорошую комнату. В ней стояла одна кровать, стол и два табурета. И вот на третий или на четвертый день я проснулся с тяжелой головой и деревянными ногами и удивился, что отец

еще спит. Обычно он вставал раньше меня, а тут, вытянувшись во весь рост, он лежал на спине, и на его лице были крупные капли пота. Я стал его тормошить, он не просыпался. Я закричал. Вошла соседка. Поглядела на отца и убежала. Пришли мужчины, сказали, что в комнате угар, положили отца на одеяло и понесли. Он лежал на одеяле с широко растопыренными локтями, опустив голову на руки, и казалось, что он спит, что он пьян, и я все еще думал — протрезвеет и очнется...

Потом я ночевал на вокзале, спал стоя, втиснувшись в узкую щель между голландской печкой и стеной. Когда днем приходили милиционеры или дежурные по вокзалу, я подсаживался к какому-нибудь старику, будто я с ним, чтобы меня не забрали.

И еще я никогда в жизни не забуду того магазина, где продавали крупу и стояла громадная очередь, и щуплого парня в тельняшке, который глазами указал мне на чью-то широкую спину, и я протискался в толпе и запустил руку в чужой карман. Там было холодно, скользко и страшно. Я выдернул руку и вдруг понял что-то очень важное, может быть, самое важное в своей жизни: понял, что никогда не стану вором, что не хочу и не буду прятаться от людей, что люди помогут мне сами и меня ждет впереди что-то очень хорошее.

Мы свернули за угол и увидели песчаный обрыв, поросший соснами, голубые палисадники и скворечники.

— Это та улица! — сказал младший. — А вот и тот дом!

Он постучал в окно, и на крыльцо вышла старая женщина, большая, тяжелая и усталая.

— Узнаете меня?

— Нет, — ответила она недоверчиво, — а кто вы?

— Сын Михаила Никитича. Помните?

Она долго вспоминала молча, и ее большое, недоброе и властное лицо постепенно становилось растерянным и жалким.

— Надо же! — сказала она. — Господи! Надо же!

Из дверей высунулся пожилой мужчина. Рядом с ней он казался тщедушным и маленьким. Она взглянула на него испуганно и поторопилась сказать:

— Муж мой.

И вдруг стала звать нас вечером пить чай.

— Нас не будет здесь вечером. Мы сейчас едем дальше.

— Надо же! — сказала она. — А может, придете вечером?

И все оглядывалась на мужа и не знала, что сказать еще.

Мы попрощались.

— Может, останемся до утра? — спросил старший.

— Нет, — сказал младший. И поехал не оглядываясь.

Он ехал так быстро, что другие едва за ним поспевали. И только когда город остался далеко позади, он поехал медленнее, и опять перед нами в бесконечную даль уходила дорога.

ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ

В городе Октябрьском — первом городе Башкирии на нашем пути — мы ночевали в гостинице «Девон». Рано утром уезжали по Девонской улице. Девон — это слой земной коры, где залегают нефть. А нефть — эликсир молодости, преобразивший эту старую башкирскую землю.

Город Октябрьский рожден нефтью, как Альметьевск, как Серафимовка, Бавлы, Лениногорск, Салават и многие другие города и поселки Татарии и Башкирии.

Все здесь связано с нефтью: в красивых четырехэтажных домах живут нефтяники и буровики, на перекрестках улиц и бульваров установлены панно с графиками добычи нефти, на окраине города — громадные серебристые цистерны; маршруты городских автобусов ведут к промыслам.

Шоссе незаметно взбирается вверх — здесь предгорья Урала.

Слева — рыжеватые безлесые холмы тянутся горбатой грядой, напоминающей караван верблюдов. Справа — поля и поля. Уже началась уборка урожая. Поля стоят встревоженные, нетерпеливые.

Иногда сердитой волной прокатывается по ним ветерок, и тогда они будто ропщут. Далеко друг от друга работают комбайны и жнейки. Тарахтят тракторы. Пылят грузовики.

Наперерез нам, прямо по полю, несется маленький «Москвич». Чуть не опрокинувшись в кювет, он выбирается на дорогу и неожиданно тормозит перед нашими велосипедами.

— Жнейку тут не встретили? — приоткрыв дверцу, спрашивает человек в сбитой на затылок соломенной шляпе. Глаза его сверкают той радостной озабоченностью, которая делает человека счастливым.

Мы не успели еще спросить, кто он и зачем ищет жнейку, как дверца машины захлопнулась и отчаянный «Москвич» опять помчался по меже, вздымая за собой тучу пыли.

Шоссе извивается между холмов. За каждым поворотом нас поджидает что-нибудь примечательное: то подъемные краны, возводящие среди поля стены завода, то глубокий котлован и деловитые экскаваторы, то дымящие печи, в которых варится асфальт.

Часто встречаются новые поселки. Они такие новые, что кажется, будто их только накануне привезли сюда и поставили целиком — и эти маленькие чистенькие дома с верандами, и этот клуб, и столовую, и школу, и тонкие деревца, окруженные низенькими заборчиками.

Во второй половине дня мы услышали гул, тяжелый и приглушенный, как морской прибой. Гул быстро нарастал. Вот он уже захлестнул шоссе. Тревожно крича, поднялась и взлетела стая ворон. По склону холма, снизу вверх, ползли двенадцать тракторов. Они были похожи на шесть пар волов, эти мощные тягачи, впряженные в сорокадвухметровую буровую вышку.

Вышка чуть заметно вздрагивала, покачивалась, а тракторы тужились изо всех сил. Казалось, что они даже привстали на дыбы.

Могучую упряжку сопровождало несколько человек в брезентовых плащах с капюшонами. Это была бригада вышкокомонтажников. Когда заканчивалось бурение и скважина сдавалась в эксплуатацию, они перетаскивали вышку на новое место, и меньше чем через пять дней на новое место приходили бурильщики.

Вышка медленно и величественно двигалась мимо высоких дубов и сосен, которые казались рядом с нею карликами.

Мы обогнули холм, и гул стал постепенно стихать, и снова вокруг развернулись поля и послышалось стрекотание полевых машин.

На обочине стоял старенький мотоцикл. Широколицый скуластый человек с сединой в волосах сидел на корточках. В пыли лежали гаечные ключи. Человек, не поднимаясь, помахал нам рукой:

— Нет ли свечи, ребята? Треснула, черт бы ее побрал! Просто беда!

Мы достали из багажника свечу. Разговорились. Мотоциклист оказался инструктором райкома партии.

— Поверите ли, — сказал он, — в пять утра сегодня встал, и вот все мотаюсь из бригады в бригаду. Такая уж должность мотачая. Особенно во время уборки. Там, глядишь, бригадир с председателем поругался — надо мирить. Там машин не хватает. Где похвалить надо, где нагоняй дать, где посоветуешь. Я уж десять лет по сельскому хозяйству. Опыт, слава богу... Не всякий агроном такой имеет.

Он заменил свечу.

— Хорошо тут с вами калякать, а мне ведь еще сегодня в двух бригадах побывать обязательно. Да и дорога туда еще та! Пока доедешь — всю душу вымотает. — И, закрепив на багажнике перевязанный бечевкой портфель, он сел на мотоцикл и уехал.

Под вечер нас нагнал всадник. Он примчался с поля, размахивая короткой плеткой, невысокий, ладно сложенный, с раскосыми озорными глазами.

— Эй! Эй! — кричал он, догоняя, и махал рукой, будто собирался изрубить нас несуществующей саблей.

Когда мы остановились, всадник наклонился с седла.

— Смотрю: мотоцикл не мотоцикл, велосипед не велосипед. Что за машина?

Узнав, что мы едем из Ленинграда и в Башкирии первый раз, он позвал:

— Айда со мной. Газ посмотришь!

Молодой башкир лихо сидел на коне, поигрывая уздечкой и красуясь, а лошадь, скосив глаза, нетерпеливо топталась рядом с велосипедами.

Видя, что мы не спешим свернуть с дороги, всадник обиделся:

— Зачем поехал в Башкирию? Что дома жинке расскажешь? Айда на мой участок! Потом ночевать будем. Ужинать будем.

И представился:

— Фаниль Ямгутдинович Ярулин, надсмотрщик газопровода. — Он сказал это с таким достоинством, будто нет на свете должности почетнее и выше.

Мы поехали по узкой тропе в поле. Фаниль ехал впереди и оглядывался — не повернули ли мы обратно.

Он наблюдал за участком газопровода длиной в двадцать километров. Это узкая полоска земли. Она тянется по полям и холмам, по рощам и оврагам, ничем не приметная. Но для молодого башкира она полна значения.

Он слез с коня и, ведя его под уздцы, показывал то выкошенную траву, то траву невыкошенную, то камень, то кочку и рассказывал, что здесь, по зарытой в землю трубе, газ идет в Уфу и, кажется, в Магнитогорск, а может быть, даже еще дальше — в Казахстан. И если он, Фаниль Ярулин, не заметит утечки газа, то в Уфе, Магнитогорске, а может быть, и в Казахстане остановятся все заводы... А уж о семилетке и говорить нечего!

Позже он рассказал, как минувшей зимой загорелся газ в одном из колодцев его участка, и как он

тушил его шинелью и обжег руки, и как больно было держать телефонную трубку, когда он сообщал о происшествии аварийной службе.

Фаниль рассказывал это уже не в поле, а в своем саманном домике, в крохотной деревне Старомирово на берегу заросшей речушки Чермасан.

Мы сидели вокруг самовара, поджав ноги, на широких нарах, застеленных ярким ковром. Вдоль стены были сложены почти до потолка кошмы, подушки и ватные одеяла. Молодая хозяйка с черными косами, не спуская с колен маленькой дочки, разливала чай. А Фаниль Ярулин и на нарах сидел, как на коне, — прямой, ладный; красивый.

Перед тем как улечься спать, вышли на улицу. Было очень темно, уже ни в одном доме не горел свет. Только крупные звезды мерцали беспокойно и радостно.

Мы долго стояли у калитки, и постепенно немой мрак стал наполняться светом и звуками. Мы увидели на небе покачивавшиеся отблески автомобильных фар и различили вдали слабое зарево — может быть, в той стороне был поселок или город. И появились звуки, которых мы не слышали прежде, — неясные и загадочные: позвякивание, хруст, шорох.

Но эти звуки и отблески мягко и властно подавляла ночь. Сон и отдых спустились на озабоченную землю.

ЗА КУК-КАРАУКОМ

В школе мы учили, что Урал — это невысокие горы, разрушенные дождями, ветрами и временем. Но за деревней Кук-Караук, там, где отвесные скалы почти столкнули узкую каменистую дорогу в горную реку, над которой навис серый камень, похожий на огромного медведя, начался крутой и затяжной подъем.

Подняться в горы совсем не то, что подняться в гору.

В гору можно подняться одним духом, отдав все

свои силы, зная, что на вершине будет отдых, а потом спуск вниз.

Но тут было совсем иначе. Через сто-двести метров скачки по камням мотор терял мощность, и мы должны были помогать ему педалями. Так проезжали еще двадцать-тридцать метров, а потом ноги деревенели и мотор глох. В висках начинало стучать, во рту пересыхало, глаза заливал пот, но мы еще крутили педали сколько хватало сил, а когда выдыхались совсем, останавливались и собирали на обочине пыльную переспелую малину.

Так мы добирались до вершины, но за коротким спуском открывались новые горные хребты, один выше другого, и мы не успевали еще отдышаться, как дорога снова почти вертикально вставала перед нами. Не верилось, что по ней можно взобраться. Уехавший вперед товарищ казался вдали, на узкой лесной просеке, маленькой, чуть заметной неподвижной точкой. И вот снова включаем полный газ и разгоняем велосипеды, и снова мотор теряет мощность, мы нажимаем педали, деревенеют ноги, и глаза застилает пот.

Так мы ехали два дня. Иногда не велосипеды тащили нас, а мы тащили их: один держал велосипед за руль, а трое других подталкивали сзади.

На этой трудной дороге было большое движение: сверху шли машины с лесом. Снизу везли трубы газопровода и продукты. Машины оглашали горы надсадным ревом. Тормоза едва удерживали их на спусках. Шоферы помогали нам чем могли: одни — сочувственным словом, другие — бензином, третьи — хлебом и салом.

Словно в награду за трудные перевалы, мы попали в чудесную страну жителей гор: охотников, лесорубов, золотонкателей.

Скотину здесь не пасут. Она сама бродит по горам. Бывает, что козы не приходят домой по несколько суток. У них крепкие ноги, короткие прямые рожки, гордый взгляд, и их густая шерсть поблескивает так, что животные кажутся отлитыми из бронзы.

По обе стороны дороги — непроходимые стены

леса. Там водятся медведи и рыси. Ночью кажется, что небо лежит на вершинах. Звезды крупные и тяжелые. Тепло и тревожно.

Утром мы спустились в долину Белой. Горы держали реку бережно, как в ладонях. Казалось, нет в мире лучшего места для отдыха — такая тишина кругом, такое чистое небо, так восторженно-величественны горы.

Ночевали в Верхнем Авзяне. Это большое село с электростанцией, гаражами, мастерскими, домом культуры. Здесь живет одиннадцать тысяч человек. Дома — просторные, высокие, многооконные. Амбары и сараи сложены из толстенных бревен. Дворы устланы сосновыми досками. От этого в каждом доме и во всем селепряно пахнет смолой и лесом.

Лес здесь основное богатство. Люди работают лесорубами, смолокурами, столярами.

Раньше Верхний Авзян славился золотоискателями. Теперь ищут медь и свинец. Геологи приезжают в Верхний Авзян за проводниками и рабочими.

В доме, где мы ночевали, стены украшены нарядным хвостом тегерева, медвежьей мордой, оленьими рогами. Молчаливый белокурый хозяин такой высокий и широкоплечий, что всё в доме: и деревянные лавки, и стол, и фикусы в кадках — кажется маленьким.

Он работает шофером лесхоза — возит лес в Стерлитамак, Салават, Уфу. А до войны охотился за кротами.

Уходил один на много дней в горы, расставлял там ловушки и жил в шалаше.

Его родители были углежогами, жгли уголь для домен Белорецкого завода. Восемь лет они провели в лесной чаще, в маленькой избушке, возле которой день и ночь тлели бревна, засыпанные землей. Углежогами они стали не сразу. Раньше отец был старателем — искал золото. Однажды он всю зиму бродил по горам, но не мог ничего найти. Семья обнищала, продали корову, ели только хлеб с водой. К весне повезло — отец принес маленький самородок, расплатился с долгами и сказал: «Хватит!»

В тот год они стали углежогами.

Все это нам рассказал не хозяин. Рассказала его жена, когда он уехал на мотоцикле в горы косить сено. К мотоциклу были привязаны коса и ружье.

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Эти строки мы записываем в Магнитогорске. Мы только что пришли из доменного цеха. Наша одежда, как после новогоднего бала, покрыта мельчайшими блестками. Это остывшие искры. Они осыпали нас, когда расплавленный чугун вырывался из доменной печи и, мчась по светящимся от жара желобам, стекал в громадный ковш.

Мы еще потрясены той бурей огня и металла, которую видели в домнах. Буря эта вырывается наружу вместе с расплавленным чугуном, и кажется, что нет такой силы, которая могла бы загнать ее обратно в печь, но горновые, надвинув на лоб широкополые войлочные шляпы, спокойно забивают огнедышащую глотку.

Не только возле домен, но и в мартеновских цехах и у прокатных станов — исполинская схватка. С одной стороны — жар и пламя, с другой — машины и люди. Жар и пламя рвутся наружу, не подпускают людей к печам и станам. Но в самое пекло люди направляют машины — специальная пушка огнеупорным снарядом забивает доменную летку, загрузочная машина подходит вплотную к мартену и засовывает свою железную руку в его горячую пасть. А быстрые рольганги как бы играют огненными потоками проката, способными все испепелить на своем пути.

Из цеха в цех мы ходили по надземным пешеходным дорогам. Это длинные металлические мосты. Под нами — вереницы грузовиков и маленьких электровозов. А над нами и вокруг нас — сплетение газовых труб. Некоторые из них такого диаметра, что кажется, будто внутри них могут двигаться поезда.

Магнитогорский завод — целый город. Домны как небоскребы. Между цехами и башнями можно заблудиться. Здесь кипящие озера воды, высокие эстакады, мощные металлические конструкции. Мы не знаем их назначения, но они кажутся мускулами многих тысяч людей.

Старший из нас был здесь тридцать лет назад. Тогда еще только закладывался бетон в фундаменты двух первых домен. Землю рыли лопатами и возили в тачках. Когда появился первый экскаватор (маленький «Мария»), он казался чудом техники, о нем слагали стихи и писали пьесы. Тогда еще почти не было опыта, машин и специалистов. Были только вера в будущее и дерзкий вызов, брошенный Западу. И было еще незабываемое, особое настроение, юношеский подъем, которые на всю жизнь остались в памяти каждого строителя «Магнитки», — тогда Магнитогорск просто и ласково называли «Магниткой».

То были годы первой пятилетки. То были годы незабываемой юности.

Вокруг строительной площадки тогда не росло ни одного дерева. Повсюду сухая, выжженная солнцем трава, песок и унылые барачные поселки. Но уже существовали план и макет соцгорода. Они были как мечта о прекрасном городе будущего: ровные улицы, каменные дома, и между каждыми четырьмя домами — сквер. «Город-сад!» — говорили о нем.

И вот мы идем теперь по этому городу. В нем все как на макете: ровные улицы, каменные дома, и между каждыми четырьмя домами — сквер. Это город-сад.

Но сад, несмотря на летнее время, кажется осенним. На деревьях желтые листья. Они гибнут от дымного дыхания завода, которое часто доносит сюда ветер. И сам город оказался вовсе не таким прекрасным, каким он виделся тем, кто закладывал его первые кирпичи. Дома, построенные в тридцатых годах, некрасивы и неудобны. Улицы однообразны. Скверы неуютны. Все как было на макете — и все

не так. То ли строили наспех и небрежно? То ли неверно представляли себе будущую жизнь? А может быть, просто изменились наши представления о красивом и удобном?

Но мечта о прекрасном городе осталась. И нам кажется, что теперь она осуществилась. На правом берегу реки, там, куда ветер никогда не заносит копти и гари, в последние годы поднялся новый город. В нем много безоблачного степного неба, много солнца, яркой зелени. Здания нарядны и праздничны. Они могли бы украсить проспекты любого города мира: Парижа или Рима, Нью-Йорка или Лондона.

Из Магнитогорска мы уезжали на рассвете. Громадный завод был окутан дымным туманом. Наш путь лежал на восток по неведомым и трудным степным дорогам. От этого было тревожно и радостно.

МЫ ЧУТЬ НЕ НАЕХАЛИ НА ГОРОД

Сразу за Магнитогорском начинается степь. Желтая трава растет здесь пучками. Пахнет полынью. Там, где больше влаги, трава ярко-зеленая. Она завитая, лоснящаяся, похожа на шерсть молодого козленка.

В степи много дорог. Не знаем, по какой ехать. Иногда возникает нежная, чуть заметная радуга. Она невысоко над землей. Подъезжаем ближе. Это сотни оросительных фонтанчиков разбрызгивают капельки воды над полями капусты, свеклы, огурцов.

Уже издали видим белый островок. Что это: снег, соль? Оказывается, это гуси и утки. Их так много, что от берега до берега они закрыли собой пруд.

Большие поселки совхозов чем-то напоминают Магнитогорск. Белые дома в несколько этажей. Высокие трубы. Ровные улицы. И очень много ребятишек.

Ребятишки тоже чем-то напоминают магнитогорцев. Они все время строят. Из песка делают домики,

Собирают где-то камни, чтобы соорудить загородки, плотины, маленькие города. А в одном месте нам пришлось объезжать зоосад. Он был сделан из спичечных коробков, глины, соломы, листьев. В нем жили стрекозы, бабочки и жуки. Когда мы чуть не наехали на него, какой-то суровый парнишка лет трех-четырёх закричал:

— Сворачивай! Не видишь, что ли, город строим!

ЗАРНИЦЫ НАД СТЕПЬЮ

Ночевали в большом селе Александровке на берегу степной речушки Караталы-Аят. В речушке почти не было воды, казалось, что всю ее выпили утки и гуси. Утки деловито опрокидывались в воду, и их острые хвостики торчали рядом с автомашинами и тракторами. Машины стояли посреди реки, пыльные после знойного дня, а шоферы, засучив брюки, окатывали их из ведер.

Высокая седая хозяйка открыла ворота, и мы въехали во двор. Здесь копошились куры, пыжились индюшки, овечки жались друг к другу, в пыли лежал черный козлик.

— У него болит голова, — сказала хозяйка. — Давала пирамидон, не помогает. Прямо не знаю, чем лечить.

В доме шумели, кричали, стучали ногами. Но там никого не было. Это радио. Оно здесь никогда не выключается.

На столе — свежий номер «Комсомольской правды», на этажерке — книги, на стене — плакат: «Занимайтесь водно-моторным спортом!»

Мы поглядели на плакат с улыбкой. Хозяйка заметила.

— Это на память о Черном море, — сказала она.

В прошлом году колхоз посылал ее в Гагры, в санаторий «Рица». Христине Авксентьевне Колесниковой больше шестидесяти лет. В колхозе она уже не работает, теперь работают ее дети — дочери

Степанида и Антонина и девятнадцатилетний сын Вася.

Первым домой вернулся Вася. Это веселый добродушный гигант.

— Скорей давай поесть, — торопил он мать, — сегодня танцы, девки ждут!

Потом пришел жилец — молчаливый скромный парень с маленькими франтоватыми баками; он оказался «целинником» — так здесь называют приезжих. Раньше жил на Урале, в городе Миасе. В прошлом году приехал на уборку. Что-то ему здесь приглянулось: то ли сельская работа, то ли природа, то ли девушка. Он решил остаться и поступил на курсы комбайнеров.

Мы спросили:

— Домой не собираетесь?

— Да не знаю, — ответил он.

Но когда пришла Тоня, младшая дочь хозяйки, мы поняли, что парень никуда отсюда не уедет.

Тоне двадцать один год. Она невысокая, с черными косичками и смешливыми глазами. За прошлый год заработала больше всех в семье — восемьсот трудодней.

— Я вернулась из дома отдыха, — рассказывала она, — а моих коров доит другая. И не отдает. Пошла к председателю, просила, даже плакала, а после разозлилась, махнула рукой и взяла самых что ни на есть плохих.

Вечером мы подсчитывали, сколько добра приходится в этом колхозе на один двор. Когда подсчитали, Тоня смеялась:

— Вот уже не думала, что мы такие богатые!

Оказалось, что, кроме личного хозяйства, на их долю приходится одна лошадь, четыре коровы, сто семьдесят овец, три свиньи, триста семьдесят кур, гусей и уток и сорок гектаров посевов.

Потом мы пошли на танцы.

Танцевали на колхозной площади. По радио пел Георг Отс. Грохотал движок электростанции. Гармонист, присев на корточки возле телеграфного столба, играл фокстроты, вальсы и польки на особый, часту-

печный лад. Хотя без гармониста здесь не могло быть веселья, никто не обращал на него внимания. А он и не ждал ни славы, ни награды — играл себе да играл.

У всех парней были электрические фонарики. Фонариками все щеголяли, заигрывали и ухаживали. У кого ярче горит, тот лучший кавалер.

К танцующим подъехала трехтонка, ослепила фарами, резко затормозила. Из кабины выпрыгнул шофер. У него рубашка навыпуск, лицо и руки в мазуте — видно, прямо с работы. Он тоже вынул из кармана фонарик, наспех вытер ладони о брюки, разыскал кого надо и пошел в пляс.

Острые лучики фонариков мелькали и выхватывали из темноты цветастые шелковые платья, лихие чубы, утоптанную землю.

А в степи, над зреющим хлебом, властно загорались зарницы.

У РАСКРЫТОЙ КЛАДОВОЙ

Тургайская степь. Раньше она считалась полупустыней. Морозная зимой и жаркая летом. И всегда исхлестанная ветрами. Так о ней написано в книгах, которые мы читали перед путешествием. Но мы увидели ее не такой: не было ни жары, ни ветров, и ничто не напоминало пустыню.

Были большие оживленные села, где шоферы возле чайных прямо из горлышка пили кефир, а мальчишки — коллекционеры спичечных коробков, как и по всей России, — сразу же атаковали нас просьбой:

— Дяденька, покажи спички.

И были поля — от горизонта до горизонта. Пшеница. Кукуруза. Просо.

Все шире становилась дорога, все больше на ней машин. Они уже идут потоком, совсем как между Москвой и Горьким. Громадные самосвалы, автобусы, бензовозы прижимают нас к обочине, а иногда даже загоняют в пыльный ковыль. Тяжелые катки утюжат и утюжат гравий на высокой на-

сыпи — это строится новое шоссе. Оно будет покрыто асфальтом.

И вдруг возник город.

Словно кубики на столе: посреди степи стояли четырехэтажные и пятиэтажные каменные дома. Десятки, сотни домов.

Сначала мы увидели только пустые дома. Они были еще холодные и безжизненные. Штукатуры, маляры и плотники спешили согреть их теплом своих ладоней, оживить своими судьбами, чтобы это были не просто стены, а людское жилье, где смеются, и любят, и рождаются дети.

Таким мы увидели Рудный, легендарный комсомольский город. Он вырос почти на самой границе между Казахской ССР и Зауральем, рядом с рудниками Соколовско-Сарбайского месторождения, где к концу семилетки будет добываться девятнадцать миллионов тонн железной руды в год.

Этот город строит молодежь. Сорокалетние здесь считаются стариками. Начальники докладывают о своей работе комсомольскому штабу. И, наверное, ни в одном городе мира не возвышается столько башенных кранов. И, наверное, ни в одном городе мира нет столько влюбленных.

Многие девушки ходят по улицам в рабочих комбинезонах и повязаны платочками. Носят они свои рабочие комбинезоны с таким щегольством и изяществом, будто это шелковые платья. И, признаться, девушки в Рудном очень красивы.

Здесь одновременно строятся целые кварталы, улицы и районы. Вот район котлованов и фундаментов. Вот район незаконченных стен. Вот район уже готовых, но еще не заселенных домов. А этот район заселяется: на окна вешают занавески, ставят цветы, к углам зданий прибивают таблички с названиями улиц.

Мы спрашиваем:

— Как проехать к центру?

В ответ смеются:

— Торопитесь! Пока еще центр на Пионерской.

Все кругом изрыто. Повсюду груды песка, шта-

беля кирпичей, железобетонные балки. В воздухе колышутся подцепленные кранами лестничные проемы. С автомашин сгружают двери, оконные рамы, эмалированные ванны.

Каждый день в городе появляется что-нибудь новое. Новые булочные. Новые кинотеатры. Новые названия улиц...

Мы жили в одном из общежитий. Общежитие было переполнено. Нас поместили в красном уголке. Хотя вокруг Рудного раскидано много одноэтажных домиков и длинных бараков, но сюда ежедневно приезжает столько людей, что заселены решительно все уголки, в том числе и красные.

В нашем красном уголке почти вплотную друг к другу стояло восемнадцать кроватей. Тут спали крановщики и инженеры, два геолога, один режиссер, московский журналист, слесарь по ремонту сантехники и угрюмый парень, приехавший из Алматы создавать школу бальных танцев.

Мы спали под экзотическими листьями роскошного фикуса. По утрам через нас перелезали жильцы других комнат, чтобы включить радиоприемник. В комнате было очень чисто, и все жили дружно.

И вообще у нас осталось впечатление, что в этом городе особенно вкусный хлеб, особенно приветливы официантки в столовых, особенно доброжелательны коменданты общежитий, и даже кондукторши в автобусах разговаривают с пассажирами вежливо. Может быть, это происходит потому, что все жители Рудного, чем бы они ни занимались, чувствуют себя участниками грандиозного общего дела.

А дело их действительно грандиозно. Мы поняли это, когда на следующий день поехали к рудникам и вдруг очутились на краю гигантского котлована, который крутыми ступенями уходил как бы в самые недра земли.

Верхние ступени — желтые. Это песок. Нижние — коричневые, с пятнами цвета ржавчины и мазута. Это железная руда.

На обрывистых уступах, почти по самые крыши зарывшись в землю, работали экскаваторы. Сверху

они казались игрушечными. А двадцатипятитонные самосвалы, медлительно взбиравшиеся по крутым извилистым дорогам, были похожи на спичечные коробки.

Этот рудник как явление природы. Он чем-то сродни скалам, морям, ущельям. С трудом верится, что такая гигантская дыра в земном шаре выедена ковшами экскаваторов.

Невозможно сопоставить маленькие, чуть заметные фигурки людей с великанскими размерами котлована. Даже экскаваторы и самосвалы несоизмеримы с высотой откосов, с величиной земляных глыб и глубиной провалов. Пожалуй, только шагающий экскаватор на самом краю неширокого уступа под стать исполинским размерам рудника.

Шагающий экскаватор поразил нас величиной, мощностью и, главное, удивительной, почти человеческой одухотворенностью.

Он проделывает работу, которую в прежние времена выполняли три тысячи землекопов с помощью семи тысяч лошадей. Но этот гигант легко и бесшумно, даже с какой-то грацией, вращается вокруг своей оси или вдруг приподнимается и, не спеша переставляя плоские лапы, осторожно отодвигается от края уступа.

Мы долго стояли возле шагающего экскаватора, у входа в одну из гигантских кладовых нашей планеты. Больше всего удивляло то, что люди здесь почти не заметны; только машины. А люди здесь сидят в кабинах экскаваторов, самосвалов, тягачей, управляют механизмами. Но это, конечно, самые большие гиганты в этом гигантском мире.

Вечером мы разговаривали с теми парнями и девушками, которых встретили днем в рудниках и на стройках.

— Какие там гиганты! — сказал взлохмаченный паренек. — Говоря откровенно, в Москве мне жить было негде, вот и приехал.

А милая скромная девушка с наивным и доверчивым носиком призналась:

— А я за приключениями приехала!

— Да бросьте их слушать! — гаркнул здоровенный толстяк в красной майке. — Просто здесь можно здорово заработать!

Потом оказалось, что все они хорошие ребята. Толстяк водит двадцатипятитонный самосвал. Взлохмаченный паренек — бригадир комплексной бригады. Его даже в газете хвалили. А девушка работает штукатуром и готовится в техникум.

Конечно, люди приезжают сюда по разным причинам. Одних влечет романтика, других — высокий заработок, третьи приезжают сюда потому, что негде жить. Но дело вовсе не в том, почему тот или другой человек оказался в Рудном. Все эти парни и девушки, видя, как в степи возникает большой промышленный город, с радостным удивлением убеждаются в несоизмеримости результатов их труда с теми личными целями, которые привели их сюда. Эта несоизмеримость поднимает их в собственных глазах.

Взять, к примеру, того взлохмаченного паренька. Он приехал потому, что негде было жить. А теперь, глядишь, он на виду у всей страны!

Гигантские масштабы стройки и молодой азарт покоряют всех. Это творческий азарт. Он делает будничную работу похожей на спорт и праздник.

Поэтому с такой гордостью девушки Рудного выходят на улицу в своей рабочей одежде, а парни шеголяют друг перед другом неумолимостью, силой, умением и высокими заработками.

ХЛЕБ

Освещенные жарким солнцем поля торжественны и праздничны. Они разлились великим изобилием хлеба. Неоглядная равнина плодородия!

Вдоль дороги столбики; на них лаконичные надписи: кто пахал эту землю, кто вырастил этот хлеб.

Пшеница здесь невысокая, с усатым тугим колосом. Разотрешь колос в руке — и на ладони остаются тяжелые золотые зерна.

Хлеб! Как его много! О нем все разговоры. О нем

говорят на дорогах, в гаражах, в столовых, в мастерских и в гостиницах.

Хлеб! Ему подчинено все.

Ради хлеба нас обгоняют длинные колонны грузовиков. На красных полотнищах слова: «Дадим Родине 800 миллионов пудов казахстанского хлеба!»

— Откуда?

— Из Рудного!

— Откуда?

— Из Кустаная!

Ради хлеба, как танки перед боем, выстроились в каждом селе комбайны. Кажется, что они только ждут сигнала, чтобы широкими рядами двинуться в степь, как в наступление.

Ради хлеба состав за составом спешит по железной дороге. На открытых платформах — сельскохозяйственные машины, только что сошедшие с конвейера.

Ради хлеба на станциях строятся новые элеваторы — такие громадные в действительности и такие маленькие на фоне полей.

Ради хлеба с районных аэродромов поднимаются в воздух самолеты, а по дорогам мчатся легковые машины и мотоциклы.

Ради хлеба пылит автобус, опоясанный кумачом со словами: «Привет хлеборобам», и прямо в поле выходят скрипачи, балерины и певцы.

Хлеб! Хлеб! Хлеб!

Великий океан изобилия, щедрости и красоты!

НАМ ХОРОШО НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

Уже сорок пятый день мы едем и встречаемся с различными людьми. Мы расспрашиваем их, они расспрашивают нас. Один разговор мы записали дословно.

Мы записали его так.

Собеседники:

Евгений Михайлович Кожемякин — работник совхоза «Джамбулский» Кустанайской обла-

сти. Ему около тридцати лет. Высокий, в соломенной шляпе, с выгоревшими рыжеватыми бровями, с сухим, обветренным лицом. Говорит быстро, увлеченно, а когда ему не хватает слов, делает досадливый взмах рукой.

Антонина Николаевна — его жена, работник того же совхоза. Полная, черноволосая, добродушная. Она все время хочет принять участие в разговоре, но не может прорваться сквозь горячую речь мужа. У нее двое детей: Оля — трех лет и Люся — двенадцати лет.

Разговор:

Кожемьякин. Ну как картошечка, неплохая? Мы. Отличная картошка. Вкусная, рассыпчатая.

Кожемьякин. Посмотрели бы, где мы ее посадили! Вспахали мы трактором поле, глубоко вспахали — земля комьями, крупные комья, сухие. Ну, думали, черта с два здесь что-нибудь вырастет. А сейчас... Хорошо бы вам для интереса сходить туда. Ботва вот такая, чуть ли не с метр, а выроешь из земли картофелину, так она, верите ли, как мой кулак — одна к одной. И откуда такая берется? Здесь все растет — и арбуз и дыня... ну, в буквальном смысле, хоть палку воткни и вырастет дерево.

Мы. А как здесь с водой? Хватает?

Кожемьякин. Первое время на машинах возили, а сейчас пруды. Как только приехали, заложили двадцать тонн тола и бабахнули. Получился котлован — метров сто на семьдесят и в глубину, пожалуй, шестнадцать. Мы весной приехали: кругом тает снег, в палатках по колено воды; когда приходишь с работы, так к койке не подойти, снимаешь ботинки, и бочком. Одним словом, весело было! Работали — на часы не смотрели. Начинали часов так в шесть, в пять. А директор еще раньше. Идет навстречу и благодарит всех за то, что рано поднялись.

Антонина Николаевна. Хороший был человек.

Кожемякин. Кончали работу, когда гвоздя уж не видно. А комары как жрали!.. Ночью закутаешься в простыню, в одеяло — все равно не помогает. Но знаете, на целине люди изобретательные. Брали консервную банку, запихивали туда вату, смачивали керосином, поджигали и вешали у входа. Вроде бы дымовая завеса. Хоть дышать нечем, но все полегче.

Мы. И долго жили в палатках?

Кожемякин. До осени. А там уж были готовы дома. Ну и осень была! И без денег приходилось сидеть и без хлеба. Дороги развезло — ни пройти, ни проехать. В магазине пусто. А мы ведь все холостяками были, что купишь, то и поешь.

Антонина Николаевна. Иной раз по три дня толком не ели.

Мы. Наверное, многие не выдержали, уехали?

Кожемякин. Человек пять-шесть, не больше.

Антонина Николаевна. У нас директор был очень хороший, он с нами так поговорит...

Кожемякин. Но все равно почти все они потом вернулись. Первых-то мы еще брали обратно, а потом нет. У нас порядок такой: просит человек расчет, а директор ему говорит: «Вот тебе отпуск, поезжай, посмотри. Не захочешь вернуться — расчет дадим мигом!» Ну, а другой упрямится: давай ему расчет, и все тут! А через месяц денежки порастрясет и просится обратно, а мы ему: шалишь! У нас тут люди, можно сказать, гордятся, а он бегаёт!..

Мы. Но вам же люди нужны?

Кожемякин. Нужны-то они нужны. Работы здесь пропасть. Урожай такие, что просто не поверите. Вот наш совхоз считается небольшим, средним, а в прошлом году дали государству двадцать эшелонов хлеба. Двадцать эшелонов — шутка ли! А в нынешнем году ждем раза в полтора-два больше. Представляете, сколько нужно людей?

Мы. Так где же берете их?

Кожемякин. Ну сейчас-то к нам едут целыми семьями. Теперь всякий сюда приедет, чего не приехать? Дома хорошие, деревья посадили, в магазинах всего полно. Одеваемся не хуже, чем в городе.

Антонина Николаевна. Вот я в Гродно побывала, в отпуск ездила, так не понравилось. У нас куда изящнее одеты.

Мы. Значит, хорошо живете?

Кожемякин. Как сказать!.. Меньше тысячи никто не зарабатывает. У всех радиоприемники, швейные машины, мотоциклы...

Антонина Николаевна. А со швейными машинами просто смех — покупают даже для девочек вместо игрушек. Вот и Люсе мы купили — пусть шьет, учится. Только с фруктами у нас пока плохо.

Кожемякин. Скоро свои будут. Сады посадили... У многих и машины есть — на рыбалку ездить. У нас ведь расстояния — дай бог! До Кустаная — двести сорок. До Кайбогора — сто двадцать. А знаете, я так привык, что сто километров вроде бы как десять. Машин в совхозе много, все время ходят туда и обратно. Четыре с половиной часа — и в Кустанае.

Мы. Простите, пожалуйста, а вы член партии?

Кожемякин. Да. У нас все или коммунисты, или комсомольцы. Беспартийных почти нет. Только старики, родители.

Мы. А женаты давно?

Кожемякин. Да как считать? Четыре года. И давно и недавно.

Мы. Сюда вместе приехали?

Кожемякин. Она немного попозже. Я приехал с самой первой партией. Место нам показали на карте, а отыскиали мы его по компасу и забили колышки.

Мы. Вы тогда уже были женаты?

Кожемякин. Нет. Здесь поженились. Я, как только демобилизовался, — сразу на целину. Здесь и познакомились. Она из Гродно, на обувной фабрике работала. А теперь у нас вон какая семья! Олечка здесь родилась, а Люся — приемная дочка...

Так записано в нашем дневнике.

Разговаривая с этими людьми, мы, признаться, радовались, как первооткрыватели. Мы много читали

о целинных землях, о людях, приехавших туда по комсомольским путевкам, и, по существу, Кожемякин не рассказал нам ничего нового. Но мы чувствовали, что встретились с особой категорией людей. Эти люди отважны, энергичны, предприимчивы, они живут широко и мужественно, решительно изменяя весь образ сельской жизни, сложившийся веками.

Вечером мы вышли на улицу. Улица была короткая и широкая. Аккуратные домики. Электрические фонари. Тоненькие деревья. А вокруг на сотни километров — поля, степь, поля...

В этот час было очень тихо, только откуда-то слышалась негромкая музыка и вдаль стучал движок.

И опять мы почувствовали себя не просто в такой-то области на улицах такого-то поселка, — мы почувствовали себя на земном шаре, на нашей планете. Она была под нами, планета Земля, оплетенная рельсами и проводами, Земля с многоэтажными зданиями, с лабораториями ученых, с электронными машинами и атомными реакторами. Вокруг нее кружили самолеты, с поверхности мчались в космос ракеты, и вся она звучала гремящими ритмами радиоволн.

И нам было очень хорошо на нашей планете...

БЕЗ ЗАПАСНЫХ ЖИКЛЕРОВ И КОЛЕНОК

Дорога после дождя была скользкая. Мы ехали с большой скоростью по глубокой колее. Переднее колесо одного из велосипедов внезапно вильнуло, скользнуло по откосу колеи, тяжело нагруженный зад велосипеда метнулся в сторону, седок перелетел через руль и тяжело плюхнулся на подсыхающие комья земли.

Падения бывают удачные и неудачные. Удачными мы считаем такие, когда седок встает, смущенно улыбаясь, с затаенным страхом ощупывает велосипед и быстро догоняет товарищей.

На этот раз было не так. Седок долго сидел на земле, кряхтя, охая и проклиная прошедший дождь. Потом он ощупывал не машину, а свои руки и ноги. Оказалось, что у него локоть в крови, разбита ко-

ленка, растянута рука и так ушиблено одно из ребер, что даже больно вздохнуть.

Но больно или не больно, а надо ехать дальше, потому что вокруг лежала степь и не видно было жилья. И вскоре потерпевший снова взобрался на велосипед и поехал с такой осторожностью, будто за нашими плечами не было трех с половиной тысяч километров пути. Но с каждым километром он прибавлял скорость, а к вечеру уже мчался как обычно, подгоняя себя несбыточной надеждой когда-нибудь обогнать «Победу» или хотя бы «Москвича».

На следующий день, проехав уже двести или двести пятьдесят километров от места падения, мы заметили, что потеряли сумку с запасными частями. Там были все запасные части для велосипедов и моторчиков: поршневые кольца и жиклеры, ниппеля и спицы и много маленьких болтиков и гаечек, которые могли потребоваться в пути.

Вот это было горе! Еще ни разу за все путешествие мы не предавались такому отчаянию. Как ехать дальше без запасных частей? Что делать, если сломается поршневое кольцо или несколько спиц?

Мы сокрушались долго и тяжело, пока не вспомнили о вчерашнем падении.

— Ведь для себя мы не везем никаких запасных частей: ни рук, ни ног, ни ребер, — сказал тот, кто вчера упал, — почему же нам тревожиться о велосипедах?

«Действительно, почему?» — думали мы.

— Ну, ну, — сказал тот, кто вчера упал, — хватит хандрить. Теперь велосипеды не имеют никаких преимуществ перед нами, только и всего.

И мы поехали дальше веселые, хотя у нас не было ни запасных жиклеров, ниппелей и болтиков, ни запасных локтей, коленок и ребер.

ПОЧЕМУ НЕ БЬЮТ ЛЕБЕДЕЙ

Из Кушмуруна выехали на рассвете. И сразу же за деревней будто нырнули в воду или вырвались во вселенную. Здесь не было ни скорости, ни движения,

ни пространства. Только маленький островок с нашими велосипедами, а кругом — и сверху, и по сторонам, и впереди, и позади — насыщенная ликующим светом масса тумана.

С каждой минутой туман становился все легче, он расцветал все пышней, наполнялся всеми красками, какие мы знаем и каких не знаем. И вот мы увидели солнце и небо.

Небо было неяркое, нежное и такое, точно оно никогда не знало ни туч, ни снега, ни грома и молний. Солнце вставало не над землей. Оно вставало над синей равниной спокойного моря тумана. Это море опускалось все ниже, и в нем увиделись островки суши. На одном островке — пшеничное поле с неподвижным комбайном, на другом — топографическая вышка и стая ворон. Островков появлялось все больше. Земля выступала как бы из-под воды.

Теперь уже синева оставалась только в низинах, будто вокруг нас были озера — очень много больших и маленьких синих озер. Они высыхали на наших глазах. Их становилось все меньше. И скоро осталось только одно озеро — ослепительно сверкавшее в своих низких желтых берегах.

Мы заметили на нем маленькую лодочку, и дым костра на берегу, и табун лошадей.

Возле костра стоял мотоцикл с коляской. Большой мужчина и большая женщина в кожаных куртках и теплых штанах пили чай из китайского термоса. Оба были уже не молоды.

Юноша пастух с умными раскосыми глазами сидел на красивой кобылице. Длинноногий жеребенок тянулся к ее соскам. За плечом пастуха было ружье, в руке — длинная жердь.

— Сколько платил? — спрашивал пастух, наклонившись с седла и рассматривая мотоцикл.

Жеребенок, насытившись, вздернул голову, огляделся и побежал к табуну, где пенились гривы, и молодые жеребцы, встав на дыбы, играя, кусали друг друга. Кобылица заржала и забеспокоилась. Пастух натянул поводья. Жеребенок останавливался, оглядывался, жалобно звал мать к табуну, и она взволно-

ванно плясала под всадником, который властно удерживал ее возле мотоцикла и гортанным голосом, похожим на крик птицы, звал жеребенка:

— Кру-кру! Кру-кру!

Потом мы сидели у костра и пили чай.

— Я всюду бывал, — говорил мужчина. — Я на Украине жил, в Карелии, на Волге. Но лучше этих мест, скажу вам, нет. Рыбы в озерах сколько хочешь. Уток за сезон некоторые до двухсот забивают. Вот проведешь так зорьку, и ничего не надо — рай, да и только! Вы бы посидели тут да послушали, как они разговаривают, эти птицы. Тут их тысячи, да что там тысячи, миллионы...

— И уж какие они разные, вы бы посмотрели, — сказала женщина, — и в крапинку, и зелененькие, и голубые, и желтенькие, и каких только нет! И с длинными носиками и с короткими. А гуси! А лебеди!

— И лебедей бьют? — спросили мы.

Мужчина посмотрел на нас как-то недоверчиво.

— Да у кого ж рука подымется?.. Правда, было со мной один раз такое, и сам не знаю, как получилось... Вылетел, ну поверите ли, прямо на меня. А на груди пух, ну, как снег!.. Я бью, а дробь все фьют и фьют, скользит по пуху — и в сторону. Вот он тут рядом, а не возьмешь.

Женщина сказала, как всхлинула:

— Ох, уж и жалко было этого лебедя. Принес он его, взглянула я, — она всплеснула руками, — ну прямо как из сказки! Такой белый, такой красавец. Ой, уж вся-то я изболелась тогда. Мы ведь мясо его и не ели, никто не ел — ни я, ни дочка, ни зять. Да и сам-то он его не ел. Сделали мы из пуха подушку, а уж подушка-то какая громадная, мягкая...

Вдруг зашумели камыши, запели, раздвинулись, и белый лебедь вылетел прямо на нас.

— Ох! — сказала женщина и замерла на полуслове.

Лебедь был действительно как из сказки, как из снега, гордый, доверчивый и прекрасный.

И когда он пролетел, мы долго сидели молча.

А издали неся гортанный птичий вольный возглас: «Кру-кру! Кру-кру!» То молодой пастух с раскосыми глазами мчался по степи, догоняя ушедший табун.

МЫ ИЩЕМ БРИГАДУ БАХАЕВА

В новом городе Темир-Тау, возле которого строится большой металлургический комбинат, прозванный «Казахстанской Магниткой», нам рассказали о Володе Стубайло.

Володя жил в Литве. Рос он в детском доме. Потом окончил ФЗУ и год работал на заводе. Трое его друзей получили комсомольские путевки на «Казахстанскую Магнитку». Он поехал с ними.

В поезде было весело. Пели. Пили. А когда приехали и увидели унылую степь — испугались. Один в тот же день уехал обратно, другой подался в Караганду, а третий скрылся неизвестно куда. Володя остался один.

Он плохо говорил по-русски.

В отделе кадров взяли его документы, написали какую-то записку и сказали:

— Все в порядке, идите!

Куда идти, он толком не понял, а переспросить постеснялся.

Весь день бродил по стройке, пока кто-то не привел его к прорабу. Прораб взглянул на записку, сунул ее в карман и тоже сказал:

— Хорошо, идите!

И опять не понял Володя, куда ему идти.

Володя переночевал тут же, на строительной площадке, под открытым небом. На следующий день искал прораба, но не нашел. Пошел к начальнику отдела кадров. Тот не принял его — некогда было.

Деньги у Володи кончились, уехать не на что, жить негде. Он вернулся на строительную площадку и стал устраивать себе жилье. Сделал нору среди штабелей кирпича. Весь день шатался без дела, заходил в столовую, наедался бесплатным хлебом с горчицей, а на ночь возвращался в свою нору.

Однажды проходил мимо конторки начальника участка, увидел, что ребята получают деньги. Кто-то научил его: «Напиши заявление, а начальник подпишет. Он, не глядя, подписывает». Володя написал заявление и получил ни за что пятьдесят рублей.

Володя не работал два месяца. Никто не обращал на него внимания, никто не знал, что в штабелях кирпича живет парень. Только комсорг доменного комплекса Николай Сорокин как-то заметил среди кирпичей босые ноги и вытащил на свет оборванца. Он привел его в бригаду Бахаева. Это лучшая комсомольская бригада на строительстве «Казахстанской Магнитки». О ней часто пишут в газетах. Все молодые плотники мечтают работать в этой бригаде, но принимают в нее не всех — отбирают, как в вуз, только лучших.

И вот к ним привел комсорг Володю Стубайло. Лицо и руки Володи были давно не мыты, штаны и тельняшка изодраны. И он никак не мог объяснить, почему два месяца бездельничал.

— Возьмете его в свою бригаду? — спросил комсорг.

— Сначала пусть физиономию отмоет, — сказал бригадир, — тогда посмотрим, что это за гусь.

Ребята отвели Володю в общежитие, дали ему трусы и майку, собрали деньги на костюм, послали в баню и парикмахерскую.

Так нам рассказывали в Темир-Тау.

— Ну, а что дальше? — спросили мы. — Взяли они его в свою бригаду? Он и сейчас там работает?

Этого в Темир-Тау не знали.

Мы отправились на строительную площадку.

Прежде всего увидели деревянную арку. На ней написано: «Гордись, ты строишь «Казахстанскую Магнитку»!» Потом пересекли небольшой город, который еще не столько существовал в действительности, сколько угадывался по недостроенным зданиям, фундаментам, а то и просто по колышкам, вбитым в землю и обозначающим будущие улицы.

Здесь строились не отдельные дома, а сразу целые кварталы и районы. Высокими и длинными

штабелями были сложены строительные блоки, оконные рамы, двери и пролеты лестниц. Тут же девушки сажали в землю тоненькие, как жердочки, тополя. Канализационные трубы лежали на краю глубоких канав. Сверкали трамвайные рельсы, по которым еще не прошел ни один вагон. Важно поворачивались подъемные краны. И надо всем этим властвовали юноши и девушки в комбинезонах. Царило то веселое и шумное настроение, какое бывает, когда молодежь собирается вместе на прогулку, на экскурсию или на работу.

Мы пересекли этот весело и шумно рождающийся город и вышли в степь, но попали в фантастический край небольших скалистых и уступчатых гор, крутых обрывов, пропастей, хребтов, расщелин; в край, населенный грузными и подвижными машинами, которые деловито взбирались на эти горы, спускались в расщелины, поднимали тяжести и переносили их с места на место.

Все это было среди ровной степи. А горы, обрывы, хребты и расщелины сделаны экскаваторами. Мы видели их повсюду, зарывшихся в землю почти по самые крыши.

— Где работает бригада Бахаева? — спрашивали мы у встречных, и встречные посылали нас в разные стороны: одни — к коксохиму, другие — к ТЭЦ, третьи — к домне.

Мы спускались в глубокие траншеи, карабкались по скользким откосам, обходили громадные котлованы и снова спрашивали:

— Не знаете ли, где работает бригада Бахаева?

Как сбившиеся в кучу черные осьминоги, стояли опутанные проводами трансформаторы. Рядом со зданием ТЭЦ, в тупике, окруженном горами угля, песка и железными балками, дымили уткнувшиеся друг в друга мордами паровозы. В тесном котловане юноши и девушки строили деревянный помост и плели железные нити арматуры. Тяжелые автомашины, как жуки, выползали из-под земли: сначала показывались колеса, а уж потом кабины и кузова.

В одном месте по дну траншеи шел бульдозер.

Он упрямо толкал перед собой непрерывно нараставший ком глины, а на откосах уже поджидали веселые парни в брезентовых брюках, с лопатами в руках, и как только бульдозер проходил, парни с криком и свистом прыгали прямо в воду на дно траншеи.

— Эй, берегись! — кричал молодой бородач в фетровой шляпе. — Куда прешься, черт!

Отчаянный велосипедист, не обращая на него внимания, вез на багажнике прикрученный проволокой прожектор.

Три девушки в неуклюжих комбинезонах вытягивали из щели рулон толя и спорили, кому за какой край братья. Иногда они поглядывали в сторону и подхихкивали над двумя франтами, которые, не выпуская из рук фотоаппаратов, осторожно задирали ноги, чтобы не испачкать брюки.

Высоко на домне в бенгальских огнях электро-сварки, уцепившись бог знает за что, работали монтажники. А внизу, на фоне домны, среди муравейника бетонщиков, арматурщиков и плотников, здоровенный парень с пневматическим молотком на плече позировал длинноволосому художнику, который сидел на раскладном стульчике перед мольбертом.

Башенный кран медленно сдвинулся с места и пополз по чуть заметным рельсам. Под его стрелой раскачивалась металлическая балка.

— Берегись!

Художник вместе со своим мольбертом, стульчиком и позирующим парнем покорно передвинулся в сторону, и парень сразу принял прежнюю позу.

— Где работает бригада Бахаева?

— Здесь бригада Бахаева. А вам что?

Бригада Бахаева только что пришла с обеда. Топоры еще были воткнуты в доски.

— Кто бригадир?

— Бригадира нет. Он экзамен сдает, в техникум поступает. А в чем дело? Я за него.

Так нам ответил самый молодой из плотников. Он стоял, накинув на одно плечо пиджак, невысо-

кий, тоненький, с худым мальчишеским лицом и волнистым чубом, франтовато сброшенным на висок.

Когда мы пожали его руку, он отрекомендовался с преувеличенным чувством собственного достоинства, как бы опасаясь, что его примут за мальчишку:

— Николай Токарь!

— Володя Стубайло у вас работает?

— А как же! — сказал он не спеша. — Скоро придет. Я его к прорабу послал.

— Как он работает? — спросили мы.

— Ничего работает, — снисходительно, с мальчишеской важностью ответил бригадир.

А другой парень, чуть постарше, сказал спокойно и деловито:

— Конечно, его воспитывать следует. Человек он неустойчивый, из него еще как из глины можно лепить. Ну, да у нас ребята подобрались что надо! — И с чуть заметной улыбкой он поглядел на бригадира, как бы ожидая подтверждения своих слов.

Бригадир познакомил нас:

— Это комсорг. Писарченко. Тоже Володя.

У Писарченко открытое лицо и умные внимательные глаза.

— Я почти месяц в командировке был, в Караганде, — сказал он, — а теперь за Стубайло возьмусь!

Когда он говорил о Володе Стубайло, в его тоне было что-то отцовское: суровое и нежное одновременно.

— Не подведет бригаду? — спросили мы.

— Пусть только попробует! — с шутливой угрозой сказал Писарченко, а бригадир добавил с тем небрежным достоинством, которое приличествует бригадиру прославленной бригады:

— Нам еще в том квартале присвоили бы звание коммунистической, да один парень подвел. Напился. Поскандалил.

— Он всего неделю был у нас, — оправдывался Писарченко, — мы еще не успели его прощупать.

— А Володю прощупали?

— Прощупываем, — кивнул головой бригадир.

— У нас в общежитии очень тесно, — рассказывал Писарченко, — можно сказать — койка на койке. Есть приказ больше туда не поселять. А Володю мы взяли к себе. Комендант каждый день приходит, хочет его выгнать, кричит, что мы правила внутреннего распорядка нарушаем. А мы ему сказали: ничего не выйдет, пусть он сколько угодно кричит. Мы ему говорили, доказывали, что Володю от нас никак нельзя отпускать, а он все свое. «У меня, — говорит, — общежитие показательное, для самых лучших, вы, — говорит, — себя коммунистической бригадой считаете, а сами нарушители». — И вдруг, поглядев на бригадира, он сказал, по-видимому, не столько нам, сколько ему: — Пока я здесь, никуда Володя от нас не уйдет!

Бригадир неодобрительно взглянул на Писарченко: зачем, мол, при посторонних вдаваться во всякие подробности! И, как бы давая понять, что интервью закончено, вдруг подтянулся, окинул взглядом всю бригаду и спросил:

— Ну как? Накурились?

Не ожидая ответа, он снял с плеча пиджак, аккуратно повесил его на гвоздь, рывком откинул со лба чуб, поплевал на ладони и взялся за топор.

В это время на леса поднялся Володя Стубайло.

Ему лет девятнадцать. Это белокурый, широкоплечий крепыш. Лицо у него совсем еще мальчишеское, кожа нежная, щеки румяные. В фигуре что-то медвежье.

— Порядок? — спросил бригадир.

Володя улыбнулся в ответ застенчивой, доверчивой и в то же время озорной и хитровой улыбкой. В этой улыбке, казалось, раскрылся весь его характер, сложный и противоречивый. Были в нем и робость, и готовность к самым отчаянным приключениям, и виноватость, и доверие, и дружеская ласка.

Он снял новую, еще не гнущуюся и не испачканную брезентовую куртку, так же, как бригадир, поплевал на свои широкие мальчишеские ладони, схватил топор и лихо, с удовольствием и удалью, всадил его в бревно.

ПАРЕНЬ, КОТОРОМУ ВСЕ В ЖИЗНИ УЛЫБАЕТСЯ

Недалеко от бригады Бахаева отдыхал экскаватор. Он грациозно склонил длинную стрелу и смиренно положил на влажную глину свой тяжелый ковш с хищными зубами. Казалось, он спал; казалось, что стоит притронуться рукой к его гусенице, как он вздрогнет. Кругом было шумно, из котлованов выбирались автомашины, стучали пневматические молотки, звякали вагоны на железнодорожных путях. А экскаватор спал так трогательно, будто вокруг него была тишина. Хотелось говорить шепотом.

Молодой экскаваторщик, сдвинув набок маленький берет, сидел в кабине перед рычагами управления. Он сидел, чуть откинувшись, как за рулем роскошной автомашины, и завтракал не спеша, с удовольствием, горделиво поглядывая на проходящих. В левой руке он держал кусок хлеба, а в правой — банку с компотом. Широким жестом, сверху вниз, как гроздь винограда, он подносил ко рту хлеб и откусывал от него осторожно, точно одними губами снимал с грозди по ягоде. И банку с компотом он держал, как бокал с вином, и пил компот так, словно только что произнес тост.

Увидев нас, парень весело подмигнул: вот, мол, как я завтракаю! В жизни не ел ничего вкуснее!

На его лице и в каждом жесте было такое удовольствие, такое полное принятие всего: и этого хлеба, и этого компота, и того, что он сидит в экскаваторе, и того, что вокруг него творится, что мы подумали: вот человек, которому все в жизни улыбается!

Об этой встрече в нашем дневнике осталась такая запись:

«Два года назад в Темир-Тау приехали две тысячи юношей и девушек из Болгарии. Там они не имели специальности. Здесь окончили курсы шоферов, экскаваторщиков, крановщиков. Они приехали помогать нам и перенимать наш опыт. Георгу Васильеву двадцать девять лет. На родине он рабо-

тал секретарем горкома комсомола в городе Руса. В Темир-Тау он женился на русской. Она молодой врач. У них родилась дочка. Через год все вместе уедут в Болгарию. Георг говорит, что чуть ли не каждую неделю гуляет на свадьбах. Уже триста пятьдесят болгарских юношей женились на русских, казахских и украинских девушках. На наш вопрос, что ему больше всего понравилось в Советском Союзе, Георг сказал: «Всё», а потом улыбнулся и добавил: «Но больше всего — девушки!»

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ МИРАЖЕЙ

От Караганды до Балхаша все степь да степь. Дорога однообразна, смотреть решительно не на что. Клонит ко сну. Борьба с сонливостью на велосипеде можно только одним средством — фантазией. И мы боролись.

Жара стояла, как в топке паровоза. О велосипедную раму, руль и даже о фотоаппарат можно было обжечь руки.

Мы еще утром наполнили фляжки водой, но через полчаса она стала горячей и отвратительной, а через три часа у нас уже не было ни капли даже этой невкусной влаги. Губы потрескались, языком нельзя шевельнуть: он как большая неструганая деревянная ложка, которую ни проглотить, ни вынуть изо рта.

Моторчики перегревались и не тянули. Приходилось останавливаться и ждать под палящим солнцем, пока они остынут. Чтобы остывали быстрее, мы прыгали вокруг них и размахивали носовыми платками — ветер получался небольшой, но все-таки ветер.

Не обошлось и без миражей. Сначала мы увидели море, рыбацьи лодки и на берегу — чудесную тележку с газированной водой. Потом на горизонте возник город, похожий на Сочи, дворники с длинными шлангами щедро поливали улицы. Потом в раскаленном небе появился вертолет и на ве-

ревке спустил нам бочонок с холодным пенистым пивом.

— Все! — сказали мы. — Больше так ехать нельзя. Надо что-то придумать.

И мы придумали. Ведь не зря один из нас учился в техническом училище, другой в технике, а третий был химиком.

Мы придумали портативные дорожные холодильники. Мы сконструировали их из разных кусочков проволоки, гаечек и прокладок, которые завалялись в наших инструментальных сумках; все это смонтировали в никелированных банках с пышечками, прикрепленных к рулям, и подключили к магнето наших моторчиков.

Ах, какое счастье иметь среднее или хотя бы низшее техническое образование и быть изобретателем!

В жизни каждого изобретателя обязательно бывает великая минута.

Эта великая минута наступила в полдень, когда солнце нещадно жгло и все вокруг, и люди и животные, в изнеможении искали тени. Мы включили наши моторчики и будто нырнули в прохладную воду.

— Все! — сказали мы. — Теперь можно ехать дальше.

И поехали.

Ехали через раскаленные пески и выжженные степи, солнце палило все сильнее и сильнее, а мы ехали и пели песни.

Люди думали, что мы сошли с ума от жары и жажды. Они останавливали нас и спрашивали:

— Вам плохо?

— Да нет, — говорили мы, — нам отлично. Добротроньтесь до наших холодильников. Вы можете себе сделать такие же. Это так просто!..

Никаких холодильников у нас, конечно, не было. И жары тоже не было. Наоборот, было довольно прохладно, мы весь день ехали в свитерах и вспоминали своих друзей, которые, провожая нас в Ленинграде, пугали казахстанской жарой.

Но если кругом все степь да степь, дорога однообразна и смотреть решительно не на что, то начинает клонить ко сну. Бороться с сонливостью на велосипеде можно только одним средством — фантазией.

И мы боролись.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ЗЕМЛИ

Эту ровную, седую поверхность земли называют солончаковой степью-полупустыней.

Уже третий час дня, а с утра не встретили ни жилья, ни машины, ни человека. Даже птиц здесь, кажется, нет. Становится немного страшно и очень одиноко. Наверное, так будет себя чувствовать человек в космосе. Хочется держаться ближе друг к другу и слышать голоса товарищей.

Останавливаемся. Мы кажемся себе очень маленькими. Под нами громадная голая земля. Над нами громадное голое небо. И больше ничего.

— Я где-то читал, — говорит один, — что если всех людей, живущих на земном шаре, собрать вместе, то они могли бы уместиться на площади сорок километров на сорок.

— Действительно, — говорит другой, — только здесь, в пустыне, понимаешь, как велик земной шар и как мало на нем людей.

— Неправда, — возразил первый, — людей очень много. Они даже там, где их нет. Они и здесь, вокруг нас. Кто-то недавно провел машину — вон колея! А вот отпечаток подошвы. А там — видите? — спичечный коробок. Люди ходили здесь пешком, проезжали на лошадях, верблюдах, автомобилях, пролетали на самолетах. Географы составили подробнейшие карты этих мест, геологи изучили недра. Кочевники населили эту степь своими легендами, советские люди вдохнули в нее свои мечты и надежды. Нет, людей очень много, и им нужно очень много земли. Нельзя всех людей поместить на площади сорок километров на сорок. Люди не могут

так жить. Мертвому человеку нужно очень мало места, а живому — много. Ему надо ходить, ездить, глядеть вдаль, сеять хлеб, добывать руду, строить дома и заводы. Одному человеку для жизни нужно иметь два километра вокруг, другому — двадцать, а многим — и планеты мало, им нужна вся вселенная.

МЫ ПРОЩАЕМСЯ С ВЕЛОСИПЕДАМИ

На маленькой железнодорожной станции, среди пустынной степи между Карагандой и Балхашем, мы прощались с велосипедами. Их заколотили в тесный решетчатый ящик и привязали дощечки с адресом: «Ленинград».

Мы прощались с нашими «козликами». Они делили с нами все радости и огорчения. Мы заботились о них так же, как о себе: никогда не ложились спать, не устроив их на ночлег, никогда не садились обедать, не позаботившись сначала о бензине.

Теперь велосипеды понуро стояли в деревянных клетках. Над передними колесами одиноко торчали тонкие металлические прутики. Раньше на них надеты были флажки. В каждом городе, в каждой деревне их трогало столько детских рук, что края треугольных кусочков шелка стали такими, будто их грызли мыши. Мы сняли флажки и спрятали их на память.

Задвинулась тяжелая дверь багажного вагона. Мы остались осиротелые и нерадостно-свободные. Было очень странно, что теперь нужно заботиться только о себе.

Из Караганды мы летели в Ленинград на четырехмоторном самолете «ИЛ-18». Летели на высоте семь тысяч метров. За толстыми стеклами иллюминаторов сорокаградусный мороз, а в комфортабельном салоне самолета — тепло и спокойно. Девушки в белых кружевных фартучках разносили лимонад, конфеты, яблоки.

Через шесть часов были в Москве, а вечером

в Ленинграде. С запада на восток мы ехали два с половиной месяца, а с востока на запад — один день.

Во время полета над нами было ясное небо, за нами — встающее солнце, а под нами — пышные облака, похожие на океанские волны и на снежные вершины гор. Это очень красиво. И было немного обидно, что самолет так легко поглощает расстояние, которое мы преодолевали с таким трудом. Казалось, он зачеркивает все наши усилия.

Мы спрашивали у себя: не лучше ли было бы и на восток нам лететь самолетом, чем ехать на велосипедах? И отвечали: нет, не лучше! На самолете мы только пассажиры, мы не затрачиваем никаких сил. А на земле каждый километр нам давался с трудом. Чтобы встретиться с уральским кротоловом или плотниками из Темир-Тау, нам пришлось тянуть на себе велосипеды в горы, перебираться через реки, вязнуть в песке. И, наверное, поэтому люди нас повсюду встречали так хорошо.

Полулежа в удобных мягких креслах самолета, мы мечтали о новом путешествии.

Мы тогда еще не знали ни нашего будущего маршрута, ни способа передвижения, но одно знали твердо: чем оно будет труднее, тем интереснее.



9 Там, за поворотом..»

ВПЕРЕДИ — ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

И вот мы снова в Ленинграде, и снова — поздняя осень, первые снежинки падают на асфальт, и дома стоят неподвижно, как горы.

Каждое утро мы проходим по одним и тем же улицам, видим за окном одни и те же крыши, и нам не надо искать ночлега и не надо спешить к дому, потому что дом — вокруг нас.

И каждый вечер мы разглядываем нашу географическую карту. Мы еще не знаем, куда поедем будущим летом, но знаем, что обязательно весной снова отправимся в путь, и радостная тревога уже закрадывается в наши души.

Нам хочется побывать всюду, где мы еще не были: и в Сибири, и на Алтае, и в Средней Азии, и в Закавказье.

— Ну что ж, — говорит один из нас, — попробуем побывать всюду. Ведь можно составить такой маршрут, чтобы он прошел по дорогам всех пятнадцати союзных республик.

Мы подсчитываем длину этого маршрута. Больше двадцати тысяч километров. Для велосипедов с моторчиками многовато.

В своем первом путешествии на велосипедах мы проехали за лето только шесть тысяч кило-

метров. За прошлое лето — всего четыре тысячи километров.

— А что, если поехать на мотоцикле?

Подсчитали, что и на мотоцикле нам придется ехать больше четырех месяцев, и то если нигде не задерживаться.

Мы понимали, что при такой гонке ничего не разглядим как следует: ни городов, ни новостроек, ни колхозов, ни людей. Иначе хотелось бы нам проехать по нашей стране. Но что поделаешь: страна велика, а лето короткое.

Ранней весной мы купили старенький мотоцикл «ИЖ-56» с коляской. На новый не хватило денег.

— Не проедете, — говорили бывалые мотоциклисты. — Вот если бы у вас была новая машина да помощней...

Другие говорили:

— Если бы был повсюду асфальт, тогда другое дело, а так?.. — и с сомнением покачивали головой.

Одни пугали бездорожьем Алтая, другие — горными кручами Тянь-Шаня, третьи — жарой и песками Кара-Кумов. Но мы были убеждены, что если полюбим свой мотоцикл так же, как полюбили велосипеды, если поверим в свою машину и будем заботиться о ней, как заботимся о самих себе и друг о друге, тогда наш мотоцикл вынесет все, что вынесем мы: и бездорожье, и горные кручи, и жару, и песок.

МЫ ВЫБИРАЕМ ПОПУТЧИКА

Опыт прошлых путешествий нам подсказывал, что выбрать хорошего попутчика не менее важно, чем выбрать хороший мотоцикл. Мы уже не раз убеждались, что человек может быть отличным товарищем в Ленинграде и никуда не годным товарищем в дороге.

Нам вспоминался Вася К. Это было много лет назад, когда мы еще думали, что от попутчика требуется только хороший характер, отличное здоровье и готовность переносить всякие неприятности без

нытья. Этим требованиям Вася' полностью удовлетворял. К тому же его никак нельзя было назвать «маменькиным сынком». Его детство проходило сначала в детском доме, а потом в общежитии ремесленного училища. Так что парень он был третий. «С таким, — думали мы, — не пропадешь!»

Но на первом же привале он спросил: «Где консервы?» Мы показали, где консервы, хотя укладывали их все вместе. Потом он спросил: «А чем их открывать?» Мы достали консервный нож. Потом он спросил: «А чем их есть?» Потом спросил: «Чем зачерпнуть воду?» Потом спросил: «Сколько засыпать чаю?»

Мы терпели день, второй, третий, но когда на четвертый день остановились переночевать в какой-то гостинице и, войдя в отведенную нам комнату, услышали Васин вопрос: «А где здесь выключатель?» — мы поняли, что путешествие испорчено.

Нам вспоминался и Витя С. Он ездил с нами в Прибалтику. Тогда мы еще не знали, что в пути даже достоинства человека иногда могут стать его недостатками.

Витя знал тысячи забавных историй. «С ним не соскучишься», — говорили у нас в кружке. И действительно, его можно было слушать часами. Но в Ленинграде мы встречались один-два раза в неделю, а в пути были вместе изо дня в день.

Как только мы просыпались, Витя сразу же начал рассказывать что-нибудь интересное. Когда умывались, завтракали, чистили велосипеды, он всякий раз вспоминал какие-нибудь случаи из жизни. Остановливаясь на малые и большие привалы, ужиная, укладываясь спать и даже засыпая (он просыпался раньше всех и засыпал позже всех), мы все время слышали его забавные истории. Даже на ходу он пытался рассказывать. Мы нажимали на педали изо всех сил, но он не отставал и во все горло рассказывал нам что-нибудь интересное.

Уже через неделю мы больше не могли его слушать. Мы умоляли: «Помолчи хоть минуту». А он, бедный, обижался. Но мы вовсе не думали его оби-

жать, нам просто хотелось хоть иногда услышать пение птиц или помолчать и подумать о своем. А он ехал обиженный и несчастный и говорил: «Хорошо, я не буду вам портить путешествие, я вернусь в Ленинград». И нам становилось еще хуже, нам было так его жалко, что мы тоже ехали несчастные. «Пусть уж лучше он что-нибудь рассказывает, — думали мы, — за что же обижать хорошего парня?» И мы первые заговаривали с ним. Тогда он снова рассказывал что-нибудь интересное. И путешествие было испорчено.

Нам вспоминался и Федор П.

Устроимся, бывало, ночевать на сеновале — крыша дырявая, сквозь щели сверкают звезды. Мы говорим: «Хорошо засыпать, видя над собой звезды». А Федор говорит: «Не понимаю, что в этом хорошего, лучше, чтобы в крыше не было дырок, а то дождь пойдет и сено промокнет». И ведь мы знаем, что он верно говорит и действительно лучше, чтобы крыша была целая, а нам становится как-то не по себе, и мы уже не радуемся тому, что нам посчастливилось в эту ясную ночь переночевать под дырявой крышей.

И вот, готовясь к новому путешествию, мы вспоминали всех наших попутчиков.

Герман поехать не мог — у него заболела бабушка. Володя женился и хотел ехать только вместе с женой. Очень просился в путешествие Костя, но он любит выпить. Он, конечно, не пьяница, но от рюмочки не откажется. А в пути нам будет предложено немало рюмочек и стопочек. Но у нас существует неписаный закон: в дороге ни грамма спиртного.

Больше других нам подошел бы Сергей. Он хорошо водит мотоцикл и все лето будет свободен. Он пишет маленькие и очень смешные рассказы. И в жизни — весельчак и насмешник. Но мы боимся его скептицизма. Сергей видит во всем только смешную сторону, а нам вовсе не всегда хочется видеть смешное.

Мы так и сказали ему: «Не обижайся, дружище!

Но мы не возьмем тебя с собой. Мы люди немножко сентиментальные и немножко восторженные, и если мы встречаем человека, кривого на правый глаз, то предпочитаем смотреть на его левый глаз, который может быть голубым и прекрасным».

Так, перебирая одного товарища за другим, мы остановили свой выбор на Алексее Ковалеве.

Он появился в нашем кружке много лет назад, окончив ремесленное училище в Ярославле и приехав в Ленинград поступать в индустриальный техникум. Он был тогда высокий, сухощавый парень, молчаливый, медлительный и застенчивый.

Он сел в уголок и тихо спросил: «В чем смысл жизни?» Мы ответили, как умели. Тогда он спросил: «Что такое счастье?» Мы ответили и на этот вопрос. Тогда он спросил: «А как отличить истину от лжи?» И так всегда и повсюду: где бы он ни был — в мастерской, в кино или в трамвае, — он доискивался смысла, цели и истины. Он просто не мог жить без истины.

И мы очень его полюбили. Вместе с нами он бродил по городу и совершал первые велосипедные путешествия. А когда он окончил техникум, то уехал на родину, в Ярославль, и стал мастером в том ремесленном училище, где раньше учился сам. И все время писал нам письма.

Однажды мы получили от него такое письмо:

«Погибаю. Выручайте. Окончательно запутался в вопросе о том, что такое счастье. Знаю шестнадцать человек, которых я считаю счастливыми, а они себя считают несчастными. А других я считаю несчастными, а они себя считают счастливыми. Что же такое счастье? Может быть, каждому человеку нужно свое особое счастье и нет счастья единого для всех? Никто из моих товарищей не относится к этим вопросам с должной серьезностью и не хочет их обсуждать. Если вы не возьмете меня с собой, я все равно отремонтирую свою «макаку» и поеду за вами».

Мы знали, что Алексей Ковалев слов на ветер не бросает. Как он сказал, так и будет. И мы по-

слали ему телеграмму. «Готовь мотоцикл. Жди Ярославле».

И не пожалели об этом.

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА — В ПРОШЛОМ

И вот мы снова в пути. Опять над нами громадное небо, какого не увидишь в городе, и под нами громадная земля, изрезанная реками и дорогами, а вокруг — леса и поселки и великое чудо природы: фантастические узоры листьев, воздушные танцы бабочек, суетливая мудрость пчел.

Мы мчимся вдоль берега Невы на мотоцикле с коляской. Он похож на буйвола — лобастый и рогатый. Мы еще не привыкли ни к его скорости, ни к гулу, ни к третьему колесу. И все еще не верится, что теперь не нас обгоняют автомобили, а мы обгоняем их.

Со всех сторон к мотоциклу привязаны канистры, рюкзаки и различные свертки. На сиденье коляски уложена одежда: одежда на случай дождя, одежда на случай холода и те пиджаки и брюки, которые мы будем надевать в городах, чтобы нас не приняли за бродяг.

Один из нас восседает на одежде, как на троне. И на выбоинах взлетает так высоко в воздух, что другой с тревогой посматривает: попадет он обратно в коляску или шлепнется на дорогу?

Первую остановку мы делаем в прошлом. Это Невская Дубровка. Справа — редкая сосновая роща. Слева — бугристый, поросший травой пустырь. За ним — Нева. На том берегу — завод и новый поселок.

На пустыре растут молодые деревца. Они еще совсем тонкие и нежные. За младенческой зеленью листьев — небольшой обелиск. Это памятник погибшим здесь бойцам.

Осенью 1941 и зимой 1942 года здесь шли тяжелые бои. С трех сторон были немцы, с четвертой — Нева. Этот небольшой клочок берега тогда называли «пяточком». Каждый день через Неву сюда переправ-

лялось пополнение из Ленинграда. Обрато с «пятачка» возвращались немногие.

Мы пошли мимо обелиска по неглубоким рвам и воронкам, заросшим влажной от росы травой и полевыми цветами. Мы шли все дальше и дальше к той холодной октябрьской ночи, когда старший из нас лежал где-то здесь раненый, в воронке от снаряда.

«Когда я пришел в сознание, то увидел над собой кровавую тучу. Она была совсем низко, тяжелая, набухшая; казалось, что вот-вот упадут на лицо красные липкие капли.

Я никогда не видел такой тучи и не мог понять, отчего она такая. И вдруг вспомнил, что на нашем берегу уже несколько дней горит завод. Днем пламени не видно, только черные клубы дыма, а ночью дым становится багровым и на небо отбрасывается зарево. И сразу же мне вспомнилась тесная нора, которую вырыли в глубине землянки бойцы моего взвода. Я забирался в эту нору, свертывался там и, засветив фитилек в консервной банке, прочитывал все газеты, которые приносили из батальона. Я вспомнил, как учился командовать, — меня считали интеллигентом, и мои вежливые приказания звучали неубедительно. Я уходил ночью в кусты и там в одиночестве громко выкрикивал приказания. А потом — переправа через Неву, доверчиво прижавшись ко мне в лодке бойцы моего взвода, и разрывы мин, и фонтаны воды, и берег. Он открылся мне, когда в небе повисла осветительная ракета и в неправдоподобном, театральном освещении я увидел пустынную мертвую землю и обугленные стволы деревьев с трагическими обрубками голых ветвей. А потом — траншея. Засыпанные землей серые шинели солдат. Нарастающий гул голосов. Последняя папироса в кулаке. И нестерпимое ожидание. И вот сигнал атаки. Я лезу из траншеи, падаю обратно и лезу опять. И это уже не я, а он, кто-то другой, который оставил смерть позади, и теперь ему ничего не страшно. Он пробежал несколько шагов, сжимая

автомат и что-то крича, но вдруг толчок, и уже не он, а я полетел куда-то кубарем.

И вот — кровавая туча надо мной и крепко стиснутый в кулаке комок мокрой глины. Мне очень холодно, я не могу шевельнуться, даже приподнять голову, только пальцами нащупываю что-то теплое, мокрое и липкое.

Наверное, я часто терял сознание, а когда приходил в себя, казалось, что ночь никогда не кончится и что мое тело — оно никогда еще не было таким моим — стало ватным, тряпочным и кто-то рвал его в клочья.

Однажды я различил одинокий пучок травы на фоне светлеющего неба и повисший надо мной приклад винтовки. Было тихо. Ни выстрелов, ни голосов. Я выглянул из воронки. Кругом серые глыбы земли, обгоревшие пни и кульяпки деревьев. Я понял, что не знаю, где наши, а где немцы и куда ползти. Это было самое страшное из всего, что я пережил на войне. Мне показалось, что я остался один на земле, во всем мире, и стало так жалко себя, и так некого было стыдиться, что я заплакал.

А когда в следующий раз вернулось сознание, уже рассвело, и небо надо мной было как гранитная плита. Очень хотелось пить. И ни о чем другом я не мог думать. Мне увиделась раковина в кухне, и водопроводный кран, и струя воды, под которую можно подставить стакан или кружку, или пригоршню. Вспоминался горячий чай в синей пузатой чашке и одеяло — шершавое и родное. Я натягивал его до подбородка, а когда было холодно, покрывался им с головой. И тогда я понял, что нет в жизни больших благ, чем прильнуть губами к чашке с горячим чаем, накрыться теплым одеялом, услышать участливый голос и знать, где свои, а где чужие».

— А теперь? — спросил младший, — теперь вы тоже так думаете?

— Теперь? — повторил старший. — Если сказать по правде, так теперь мне мало этих благ, но каждый раз, когда мы с тобой пьем чай из нашего тер-

моса или ложимся в кровати с чистыми простынями, мне хочется сказать: «Ну и счастливые же мы с тобой люди!»

Мы сели на какой-то бугорок, спустили ноги в неглубокую яму — воронку от снаряда — и расстелили на траве и цветах клеенку, которая заменяла нам в дороге скатерть. Из продуктовой сумки достали термос, кружки, хлеб и колбасу. Чай в термосе был крепкий, как водка. И мы выпили его в память о мертвых, и за здоровье живых, и еще за то, чтобы никогда больше война не выжгла этой травы и этих цветов.

НЕБО. ВОДА. ЧЕРЕМУХА

Весь день мы вдыхали запах черемухи. Она цвела празднично и восторженно, точно каждому саду и лесу весна подарила огромные белые свадебные букеты.

Проехав за первый день двести двадцать километров, мы решили переночевать в маленьком городке Новая Ладога. Этот городок стоит там, где река Волхов впадает в Ладожское озеро.

Вечер был светлый, как утро. Черемуха цвела у каждого дома. Черемуха отражалась в воде, а вода здесь кругом — река, озеро, каналы.

Вода была того же цвета, что и небо — светлая и легкая, чуть заметно окрашенная вечерней зарей. Берега здесь низкие, кажется, что их нет совсем: земля незаметно переходит в воду, а вода в небо, и стоят рядом одинаково отчетливые дома, деревья, лодки.

В гостинице все койки были заняты. Не было свободных мест и в комнате отдыха на пристани. Франтоватый седоусый речник, увидев наше огорчение, дал нам адрес своей тещи — у нее большой дом и много места.

Мы долго стучали в тещин дом, но никто не откликнулся. У мотоцикла собрались белокурые босонogie ребяташки. Один уселся на седло, другие набились в коляску. Потом они стали украшать ма-

шину черемухой, и вскоре мотоцикл был завален ароматными ветками.

Ночевали в соседнем доме. Дом Евгения Александровича Сорокина стоит на берегу Старого Ладожского канала, и от самой калитки мостки протянуты в воду.

В доме все пахло рыбой: самотканые цветные половники, школьные учебники на этажерке, даже герань на окнах и роскошный радиоприемник «Мир». Он был настроен на какую-то экзотическую волну, тихо беснующуюся воплями саксофонов, барабанов и литавр.

Под эту музыку танцевали брат и сестра. Ей лет тринадцать. Она худенькая и высоконькая, с белесыми смешными косичками и кокетливой челочкой. Ее кавалер танцевал на цыпочках. Ему не больше десяти лет, и подбородок дамы касался его ежистой макушки. Их босые ноги бесшумно и деловито топтались на пестрых половиках.

Увидев нас, танцоры смутились и бросились в разные стороны. Он смиренно сел за стол, а она, закрыв лицо ладонками, промчалась на улицу и крикнула в окошко матери, чтобы та дала ей денег, она ходит за хлебом.

— Ребята у нас дружные, — сказала хозяйка. — Вот так всегда и танцуют вместе и в кино ходят.

Она чистила корюшку, у нее были большие красивые руки, и сама она была большая, полная, в мужских сапогах, повязанная платком, неторопливая и властная.

— Мы тринадцать лет в лесу жили. На канале. Надзорщиками. Круглый год почти не видели людей. Кругом леса до болота. Все на лодке. И ребят из родильного дома на лодке привозили. Мы в город только из-за детей переехали. Не оставлять же их без образования. Теперь-то уж старший сын десятилетку окончил. Работает мотористом, вместе с отцом. Они у меня все мотористы. Геннадий в шестом классе — тоже моторку водит. Ольга в пятом, а уже может и мотор завести и свечу вывернуть.

Этому вот еще и десяти нет, — она показала на танцора, — а в прошлом году он забрался в лодку, завел мотор — и к озеру. Я услышала, выскочила из дома, кричу ему, а он хоть бы что. Уж столько я тогда пережила!

— Выдрали? — сочувственно спросил один из нас у парнишки, который сидел за столом тихий и благовоспитанный.

— За что же? — вместо него ответила мать. — Пусть привыкает.

В открытое окно откуда-то издалека доносилось шмелиное пение моторок. Сначала они пели дружным хором, потом из хора выделился один голос, и в тот же миг загрела на дворе цепь и с восторженным лаем вырвался из будки пушистый Шарик. Он рвался к калитке, неистово размахивая хвостом.

— Это он нашу моторку узнал, — сказала хозяйка.

Парнишку, сидевшего за столом, как ветром сдуло. Он был уже на берегу и кричал во все горло:

— Генка! А меня дяденьки на мотоцикле прокатят!

В лодке — два человека. На носу отец, массивный, как дуб, в сапогах почти до пояса. На корме — сын, тоненький, как тростинка, и тоже в громадных резиновых сапогах.

Ужинали все вместе. После ужина вышли покурить на крылечко. Было уже часов одиннадцать, но все так же светло и так же прозрачно. Только еще мелодичнее пели вдали моторки и еще зеркальнее стала вода с повисшими в ней нежными облаками и ветками черемухи.

Нам было так хорошо, что возникло предательское чувство покоя. Вдруг представились все дожди, поломки, броды, хлопоты и беспокойства, которые ждут нас впереди, и захотелось остаться здесь, в этом тихом и зеркальном мире, среди неба, воды и черемухи.

И это в первый-то день путешествия!

Мы оба взглянули на наш мотоцикл. Он стоял

у крылечка, украшенный, как невеста, белыми цветами, наш могучий товарищ, готовый ко всем дождям, поломкам и бродам.

ИНТИМНЫЕ ПРИЗНАНИЯ МЛАДШЕГО

Почему мне не сидится дома? Что всегда зовет и зовет в дорогу?

Желание получше узнать нашу страну, увидеть ее леса, степи, города и новостройки? А может быть, потребность испытать себя, свою выносливость, находчивость, силу? Или интерес к людям, их разным профессиям, обычаям и характерам? Наверное, все это вместе. Но есть еще что-то совсем интимное, такое, что не всякому расскажешь, в чем и себе трудно признаться.

Это надежда. Надежда на встречу...

Пожалуй, кто-нибудь скажет: разве не может быть такой встречи в Ленинграде? Конечно, может быть. Но пока не было, а были другие.

Первая встреча была, когда я еще учился в ремесленном училище. Наташа училась в школе ФЗО. У нее были русые косы. Вот из-за них, может быть, все и произошло. Я тогда написал стихотворение о косичках. В нем была такая строка: «Косички, косички, лисички-косички».

Я читал эти стихи в Доме культуры трудовых резервов, а Наташа сидела в зале, такая смущенная, милая, растерянная. Только она одна знала, что эти стихи написаны о ее косичках.

А потом был прозрачный морозный день. Мы с Наташей встретились в саду Дзержинского, что на Петроградской стороне. Звонким и радостным светом была наполнена каждая ветка дерева; всюду лучистые снежижки; под ногами сочно похрустывало и поскрипывало.

Помню, щеки у Наташи были холодные, как яблоки. Белыми клубами вырывался изо рта пар, будто мы курили. Из-под вязаной шапочки выбивались золотистые косички. Мне казалось, что нет девушки

милее Наташи. Ее глаза, синие и яркие, все подбадривали меня, все подхлестывали.

Тогда я был уверен, что люблю Наташу.

После ремесленного училища я работал на заводе, а потом поступил в индустриальный техникум. Здесь я подружился с девушкой, ее звали Катенька. Она недавно окончила ремесленное училище и работала на заводе. Она была не очень красива, но кто бы ни поглядел, видел, что это очень добрый и хороший человек, который никогда никого не обидит.

Мы познакомились в Москве. И она и я были участниками Всесоюзного смотра художественной самодеятельности трудовых резервов. Я выступал на смотре со своими стихами, она танцевала. Она уже и прежде бывала в Москве и знала, как пройти к Третьяковской галерее и как проехать в Останкино. Мне нравилось вместе с нею ездить по городу.

Когда я выступал — она волновалась за кулисами. Когда она выступала — волновался я.

Вернувшись в Ленинград, я стал бывать у нее дома. Она снимала половину комнаты и жила вместе с шумной, громкоголосой толстухой. У толстухи часто бывали гости. Пили, пели, играли в карты. Тогда Катенька уходила из дому. Комната была маленькая, вся заставленная мебелью. Повсюду лежали вышитые салфеточки. На продавленном диване лежало столько маленьких, тоже вышитых подушечек, что некуда было сесть.

Всякий раз, когда я приходил к Катеньке, она жарила для меня картошку, варила сосиски, угощала чаем с вареньем. Иногда я приносил ей свои рубашки, и она их при мне стирала.

Она стирала в тазу, надев на себя красный передник и зашпилив на затылке волосы, а я сидел на табурете в просторной коммунальной кухне, смотрел на белую мыльную пену, на мокрые добрые руки девушки, и мне казалось, что я очень люблю Катеньку и никого не полюблю больше, чем ее.

В Доме культуры нас многие считали женихом и невестой, а некоторые прямо спрашивали, когда будет свадьба. Мы посмеивались. Но однажды я по-

нял — Катенька уже давно ждет, что когда-нибудь я приду к ней насовсем. И тогда мне стало страшно: неужели это все, конец ожиданиям? Неужели это та единственная, на всю жизнь? И я понял, что это не так, что я не должен обманывать Катеньку.

Я сказал ей. Она очень плакала, а я чувствовал себя негодяем, вором, укравшим ее надежды, ни за что обидевшим хорошего, доброго, самого лучшего своего друга.

Мне до сих пор больно, когда я об этом вспоминаю, и все-таки мне кажется, что я тогда поступил правильно. Сейчас Катенька замужем, иногда я встречаю ее в Доме культуры.

Я был уже на последнем курсе техникума и готовился к государственным экзаменам, когда на занятия нашего литературного кружка однажды пришла новенькая. Она была стрижена под мальчишку. Здоровая, красивая, розовощекая.

Она прочитала рассказ про какого-то китайского мудреца, который почему-то все время смотрел в окно, а за окном шел снег. Снег шел очень долго, а китаец все о чем-то думал. А я смотрел на девушку, на ее беспокойные глаза, и понимал, что она волнуется и что китаец попал в ее рассказ случайно, а ей хочется рассказать о чем-то другом, очень важном и интересном.

Я пошел ее провожать. У нее были порывистые мальчишеские движения и стыдливое кокетство; ей было девятнадцать лет, она окончила школу и поступила учеником токаря на завод.

Меня поразила острота ее суждений обо всем, чего касался разговор. А говорили мы о разном: о Блоке, о космосе, о комсомольской работе, о взаимоотношении мужчин и женщин и о культе личности. Когда она успела прочитать столько книг? Когда успела собрать столько мыслей? У нее не было ни отца, ни братьев, ни сестер, только мать, не прочитавшая за свою жизнь и десяти книг.

После каждого занятия мы долго бродили по городу. В черной воде Фонтанки невесомо держались

опрокинутые дома с освещенными окнами. Вверх колесами шли под водой трамваи через мост Белинского. Нам нравилось слушать малиновый звон курантов Петропавловской крепости. Тонкий шпиль собора снизу освещали прожектора, а игла его уходила в темно-синее небо и скрывалась где-то у самых звезд.

Валя очень любила пирожные, особенно «картошку». Сколько бы у меня ни оставалось от стипендии, я покупал Вале эту сладкую коричневую «картошку». Она ела ее так вкусно, что я получал больше удовольствия, чем она.

У нас с Вале́й были свои тайны. Их не знал никто. И никто не поверил бы, если бы мы даже рассказали их. Например, мы знали, что завитки на ограде Кировского моста поют песни, а на Суворовском проспекте есть один фонарь, который каждый раз приветствовал нас кивком головы, и мы отвечали ему: «Здравствуйте, дядя Яша».

Мы понимали друг друга с полуслова, даже без слов. Стоило ей посмотреть на меня, а я уже знал все, что она хочет сказать. Даже то, что она не хочет сказать.

Как-то мы ехали в метро. Рядом с нами стоял высокий плечистый моряк. Валя поглядела на него, а потом сказала: «Вот бы тебе такой рост».

Однажды собирались в театр. У Вале́й было новое пальто, она его первый раз надела. Она долго вертелась около зеркала: в новом пальто и в новой шляпке она была очень хороша. Потом она увидела в зеркале нас вместе, и только что счастливые ее глаза вдруг стали не такими счастливыми: на мне была шинель и фуражка, и на улице меня принимали за ремесленника.

Валя познакомилась с каким-то журналистом из газеты «Смена». Как-то она пошла с ним в ресторан. А потом говорила: «Ой, Лешка, там так весело и роскошно!» И я слышал в этом упрек себе.

Но я всегда оправдывал ее: ей девятнадцать лет, и все это у нее от искренности и непосредственности. Чем же она виновата, если стесняется моей старень-

кой шинели, если ей нравятся высокие плечистые парни и хочется бывать в ресторанах?

В моем общежитии стояло девять кроватей и девять тумбочек, похожих одна на другую. Я просыпался первым и, пока еще никто не вставал, думал о Вале. Я лежал на спине, смотрел на большую деревянную люстру с тремя белыми горшочками и говорил себе: «Сегодня вечером я приду к ней и скажу: «Валечка, здравствуй! Я пришел сказать, что я понял — я больше не могу!..» Или нет, я приду и скажу сразу, как только она откроет мне дверь: «Валя! Я понял, что больше не могу!..» А вдруг не решусь, а вдруг скажу только: «Валечка, здравствуй!» Но она все равно догадается. Она только посмотрит на меня и сразу догадается, что я пришел сказать: «Валя, я понял — я больше не могу!..»

И так было каждое утро. Мальчишки из нашего общежития называли меня тогда «слегка чокнутым».

Весной в большом автобусе Валя уехала за сто километров от Ленинграда, в пионерский лагерь. Вожатой. Несколько раз я ездил туда на велосипеде. Привозил Вале конфеты, помидоры, которые она очень любила, и пирожное «картошку».

Дорога туда была тряская, она все время норовила сбросить меня в кювет, то подкладывая под переднее колесо камень, то нагромождая кучи песка. Но я мчался к Вале с такой скоростью, с какой никогда не ездил прежде. Чтобы поскорей увидеть ее мальчишеский чубчик, ее веселые и умные глаза.

Она встречала меня по-разному. Иногда была очень рада, говорила: «Ой, Лешка! Как хорошо, что ты приехал!..» Иногда была тороплива, говорила: «Лучше бы ты завтра приехал!..» А один раз сказала: «Ой, Лешка! Мы сегодня собрались потанцевать, а ты приехал. Ты упал, да? Тебе больно?..» Мне действительно было больно. Я хотел обогнать грузовик, а он прижал меня к обочине, и я полетел в канаву, повредил коленку, содрал кожу с локтя и вообще, по правде говоря, довольно крепко расшибся. «Ой, Лешка! — говорила Валя, поглядывая

то на меня, то на освещенные окна столовой. — Что же делать?..»

Я сказал, чтобы она шла танцевать. Она обрадовалась: «Только ты не уезжай, хорошо? Подожди где-нибудь здесь, полежи у речки, там хорошо. А я потанцую и выбегу к тебе. Ладно? Только ты не обидишься?»

Я лежал возле речки рядом со своим велосипедом. Очень хотелось есть. Из столовой доносилась музыка. Около меня прыгали лягушки. Трава была холодная и влажная. Я лежал под старой ольхой. Она иногда шуршала, когда налетал слабый ветерок, и тогда мне на лицо и руки падали маленькие желтые червячки семян. На реке было тихо. Только один раз гулко булькнула большая рыба.

Не прощаясь с Вале́й, с нехорошей тишиной в душе я уехал обратно в Ленинград.

Скоро год, как я не встречаюсь с Вале́й. Сначала, если кто-нибудь говорил мне о ней, что видел ее в театре или встретил с парнем, меня мучили ревность и боль. Но потом я заметил, что когда рассказываю об этом в своем дневнике, становится легче. И я решил написать повесть — все как было, всю историю своей любви.

Писал несколько месяцев, и постепенно, от страницы к странице, и Валя и моя любовь к ней стали отодвигаться назад, в прошлое.

И вот я снова в дороге. И снова жду. Другую... Настоящую. Единственную. Где я ее встречу? В каком городе? Может быть, это она стоит там, на обочине дороги, и сейчас попросит подвезти ее до ближайшей деревни? Нет, не она. Я отличу ее сразу, отличу от всех других...

СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ

Из Новой Ладogi выехали рано. Ночь была такая светлая, что, открыв глаза, старший подумал, будто уже день. Он растолкал младшего и только потом

взглянул на часы. Оказалось, что еще нет пяти. Но спать уже расхотелось.

Дорога шла прямо на восток, прямо к нежной заре на нежном небе. Но старшего нисколько не радует красота природы, когда в наших баках мало бензина, а запасные канистры пусты. Его даже раздражает, если младший со свойственной его возрасту беспечностью думает в это время не о бензине, а о чем-нибудь другом.

Недалеко от Сясьстрога мы остановили встречный грузовик. Молодой шофер явно не выспался. Он был зол и даже не открыл дверцу кабины.

— Некогда мне тут валандаться с вами, — сказал он, — еду в Ленинград.

Он уже тронулся с места, но на секунду притормозил:

— Куда собрались, на рыбалку или на охоту?

У него были маленькие презрительные усики. А лицо завязатого танцора и покорителя девичьих сердец.

Мы сказали, что собрались проехать все пятнадцать республик.

— На этой тарактелке?

Вот теперь он проснулся. Заглушил мотор. Вылез из кабины. Он ходил вокруг мотоцикла, трогал пустые канистры, запасную резину, проверял прочность багажника.

Через пять минут он признался, что если мы его возьмем с собой, то он сейчас же вернется в гараж и попросит отпуск или даже расчет. Через десять минут он уже предлагал не только наполнить бензином наш бак и канистры, но даже написать записку своему «брательнику», чтобы тот дал нам новый аккумулятор, который «брательнику» совсем ни к чему.

Хорошо ехать рано утром, когда бак полон бензина и мотоцикл рвется вперед так, что его не удержать. Вот тогда можно наслаждаться природой. А наслаждаться было чем: справа — весенний лес, а слева — безбрежное, как море, зеленоватое Ладожское озеро.

Проехали районный центр Пашский Перевоз и маленький старинный город Лодейное Поле. И там и там строились новые каменные дома. Есть ли вообще сейчас в Советском Союзе хоть один городок, где бы не строились каменные дома? Что-то мы таких не встречали.

Остановились в красивой поселке. Вдоль улицы — небольшие коттеджи с приветливыми крылечками и застекленными верандами. Розовые, белые, голубые. Это поселок 3-й Свирской гидроэлектростанции. Здесь было очень тихо — и в домах и на широком пустынном шоссе. Могучие опоры поддерживали провода высокого напряжения, которые висели от своей тяжести. Опоры были похожи на великанов. Великаны занимались гимнастикой. Одни вытянули руки вверх, другие раскинули в стороны, а третьи выжимали руками поперечные перекладины.

А вокруг тишина. Но если прислушаться, то кажется, что идет мелкий частый дождик — шорох, хруст, потрескивание, будто все вокруг насыщено электричеством.

Мы стояли молча и слушали этот шорох.

— Слышишь, как тихо, — сказал старший. — Я приезжал сюда, когда еще не было ни поселка, ни ГЭС, ни шлюза. Были только длинные бараки, котлован на реке, грохот взрывов, стук топоров. А теперь эта тишина и таинственный шорох. Странно думать, что так же будет и там, где сейчас взрывают скалы для новых электростанций.

В столовой свирских электриков к нашему столику подсел пожилой человек, чисто выбритый, в ладной синей спецовке — инженер или механик. Узнав, что мы журналисты и едем черт знает куда, он сказал:

— Зря будете тратить лето. Писать надо только об электричестве. Оставайтесь здесь и пишите книгу. Ах, какая это может быть книга!

Он готов был рассказывать нам об электричестве хоть до вечера, а когда мы спохватились, что пора ехать, он поглядел на нас с сожалением и грустью.

— Зря, — сказал он, — право, зря. Сидели бы здесь и писали книгу. А я рассказал бы вам столько интересного!

Он вместе с нами вышел из столовой и долго смотрел вслед. Когда мы оборачивались и видели его, нам было немножко стыдно: может быть, действительно правильнее было бы остаться тут и помочь этому увлеченному человеку написать книгу об электричестве.

За районным центром Подпорожье дорога пошла лесом. То ввѣрх, то вниз. Деревни здесь встречались редко. Мы ехали быстро. Мотор работал отлично. Ночевать предполагали в Вытегре. Солнце уже зашло. Вдруг мы услышали тонкий протяжный свист, и мотоцикл стало мотать из стороны в сторону.

Первый прокол.

В Ленинграде нас предупреждали: размонтировать мотоциклетное колесо не так просто. Без тренировки изрядно помучаетесь.

Потренироваться мы не успели. Ну что ж, будем мучиться.

По обе стороны дороги стоял дремучий болотистый лес. Тучи комаров и мошек так радостно гудели, будто они весь день только нас и поджидали.

Мы оттащили мотоцикл на обочину, поставили на кочку маленький дорожный радиоприемник (чтобы было веселее) и забросили антенну на дерево.

Прошел час. Приемник во всю мочь орал дуэты и арии из оперы «Молдаван». Старший плясал отчаянно и лихо. Маленький и толстый, попыхивая трубкой, он размахивал еловыми ветками. Так он отгонял комаров от младшего. А младший сидел на колесе и забивал монтажные лопатки между ободом и крышкой.

Покрышка не поддавалась. По радио уже передавали последние известия. Пресыщенные нашей кровью комары были тяжелы, как бомбардировщики.

Снять покрышку удалось только в половине двенадцатого. Мы покричали «ура» и дырявую камеру

заменяли новой. Но теперь надо было надеть покрывало обратно. Это оказалось еще труднее.

Было уже почти два часа ночи, когда покрывало, наконец, села на обод и мы взялись за насос. Качали долго и отчаянно — новая камера выпускала воздух. Мы продырявили ее монтажной лопаткой.

Силуэт мотоцикла смутно чернел среди осинника. По радио передавали джазовую музыку. На дороге не было ни машин, ни прохожих.

Что делать? Ехать со спущенной камерой — погубим покрывало. Ночевать в лесу — холодно и сыро. Решили завести мотор и потихоньку дотащить мотоцикл до ближайшей деревни.

Деревня спала. Хотя бы в одном окошке свет! Все окна темные, все двери заперты.

Мы ходили от дома к дому, стучали в окна: «Хозяева!.. Хозяева!..» Хозяева не откликались. Только в одном доме открылось окно, и мы увидели бабу-ягу. Даже не поверили сначала, даже сделалось жутко: из-под старого платка — кочерьями седые волосы; крючковатый нос почти касается крючковатого подбородка. Глаза глубоко западали, с красными веками. Во рту всего два зуба, длинных и желтых. На лбу — сажа, будто бабу-яга только что вылезла из трубы.

Мы еще не успели ее ни о чем попросить, как она сказала:

— Ночуйте, милые. У меня завсегда шоферы ночуют. Сейчас дверь отворю.

Мы вошли в темную комнату, и бабу-яга, не зажигая света, стала устраивать нам постель на полу. Она была глуховата и, спрашивая нас, не слушала ответа, а все говорила сама.

Мы улеглись на старых овчинах, а она устроилась на лежанке возле печки и долго еще бормотала, кряхтя и охая.

— Ох, милые, — говорила она, — уж больно я стара, все косточки болят. Семьдесят восьмой год пошел. Из Ленинграда, што ли? Поди, в Вытегру? У меня внук тоже шофер. Леонид. Может, знакомы? Ох, не спится мне что-то, старой!.. Сон не берет. За

день намаешься, а ночью ноженьки ноют. У меня сын в Соколе живет. Слышали — Сокол? Механиком он там. Хорошо живет. Квартира у него из двух комнат. А я вот с дочкой. Мужа у нее на войне убили, пятеро внуков осталось. Хлебушка-то не было, так я с внуками траву собирала, лепешки пекла. А теперь за правнуками хожу. Одному пятый годок, другому два годика... Из Ленинграда, што ли? А в Соколе не бывали? Гостила я у сына прошлую зиму. Сам за мной приехал. «Хватит, — говорит, — тебе работать. Поедем, поживешь, как барыня. Сиди, — говорит, — пей чай под радио и песни пой». В деревне жила, так ни одной песни не знала, а тут все, как есть, выучила. Песни-то я пою, а сердце по дочке болит. Как-то она без меня управляется? И так жалко мне ее, так жалко. Все сижу и плачу. «Уеду», — говорю. А сын не пускает. «Чего тебе, старая? Мало ты за свою жизнь маялась? Отдохни на старости». А я как порешила уехать, так мне ничего больше не надо. Не ем, не пью, все в окошко смотрю — когда пароходы пойдут?

Так она бормотала и бормотала, кряхтя и охая.

А утром мы увидели ее при свете. Она была высокая и сутулая. У нее были могучие руки, цвета древесного корня, с набухшими синими венами, жесткие руки, привычные к земле, навозу, золе.

Сколько огородов они вскопали? Сколько испекли хлеба, выгребли золы, перестирали тряпок? Сколько вынянчили детей и внуков? Каждая морщина и трещина на этих руках — след труда, терпения и любви. Это были святые руки старухи, которые растили и кормили красоту и молодость на земле.

К БЕЛОМУ ОЗЕРУ

(Листки из записной книжки)

В Вытегре был разведен мост. По реке прошел пароход почти такой же ширины, как сама река. Казалось, что он с усилием протискивается между домишками, садиками и огородами.

Вытегра — городок старинный. В этом одноэтажном деревянном городке очень много машин и прохожих. На улицах яркие лозунги о семилетке и Волго-Балте.

Пока ждали переезда, заглянули в городской музей. Там было много ребятишек, все они собрались в одном зале, где среди чучел и макетов смешно и жалобно урчал маленький живой косматый экспонат. Он стоял на задних лапах в клетке и выпрашивал конфеты. Несколько дней назад этого медвежонка поймали в лесу недалеко от города и поместили в музей, рядом с макетом гидроэлектростанции.

* * *

Волго-Балтом называют реконструкцию старой Мариинской водной системы. Это одна из крупных строек семилетки. Сейчас на пути от Вытегры до Череповца — тридцать восемь старинных шлюзов. Их строили еще в прошлом и позапрошлом веке. Теперь здесь будет всего семь шлюзов. Воздвигаются плотины, мощные гидроузлы и три гидроэлектростанции. Одна из них, Череповецкая, — совсем необычная: ее устроят под водой, в теле плотины.

* * *

За Вытегрой встретили цыган. Они шли шумной и пестрой толпой, похожие на стаю заморских птиц. Впереди — лошадь с бумажными цветами в гриве. На телеге — лопаты, ломы, топоры. Цыганки в широких длинных юбках, ярких шалях. Можно было подумать, что это ансамбль цыганской песни и пляски. Но это бригада строителей.

Несколько лет назад они остановились табором возле Вытегры. Здесь их застал закон о поселении. Для цыган освободили два дома, всех детей и всю молодежь от восьми до двадцати пяти лет записали в первый класс школы.

— Дай погадаю, начальничек, — сказала немолодая цыганка, побренькивая монетками на шее. И вдруг не то похвасталась, не то пожаловалась: —

Вот власть наша, советская, — цыгане плотину строят!

— Ну и как?

— А что ж! — она лихо мотнула широченной юбкой. — Цыгане всегда довольны. Дай прикурить.

* * *

Дорога поднялась на холм, и мы оказались как бы на островке среди черного океана лесов. В одном месте лес расступился, и там возвышались громадные бетонные стены, похожие на стены высокого недостроенного цеха, — железные связки арматуры напоминали скелет какого-то чудовища.

Строители уже ушли домой. Как бы на полуслове и полужесте замерли подъемные краны, экскаваторы, вагонетки. От этой немой неподвижности вся громадная стройка казалась частью природы, такой же молчаливой, незавершенной и монументальной, как скалы, как лес, как берег реки.

* * *

Справа вдоль дороги — задумчивая вода каналов, заводи, низкие бревенчатые плотины, тесные шлюзы. Пароходы и баржи втиснуты в них, как в коробочки. Вдоль шлюзов — маленькие домики, похожие на будки путевых обходчиков. Клумбы. Посыпанные песком дорожки. Женщины в белых платочках вручную открывают створки шлюзов. Покой и тишина восемнадцатого века. И вдруг за каким-то поворотом — грохот гравийных заводов, вереница самосвалов возле песчаного карьера, извивающиеся по воде гибкие и членистые трубы земснарядов.

* * *

Крутые песчаные обрывы, змеиное переплетение корней, громадные валуны и торжественные колоннады сосен.

Едем все время по песку, по двум глубоким рыхлым колеям. Мотор перегревается. Пахнет горелым маслом. Через каждые пятнадцать минут останавливаемся и ждем, пока остынет цилиндр.

* * *

Вечер. Нас обступили серебряные мхи и ржавые болота. Пронзительно и монотонно скрежещет коростель. А какая-то другая болотная птица безостановочно свистит и свистит, как озорной мальчишка.

* * *

Эту запись делаем в поселке Белый Ручей. Здесь леспромхоз. На фасаде конторы — календарь, сегодняшнее число и цифры: план — 1 500 куб. м. Выполнено — 1 674.

На реке — горы бревен. По узкоколейке бегут маленькие паровозики. Рельсы уходят в лесную чащу, к лесопунктам.

В поселке строится много домов — целые улицы.

Ночевали у лесоруба, пенсионера Николая Фомича Лобанова. У него новый дом. В доме привезенная из Ленинграда мебель, ковры.

У Николая Фомича три сына. Старший окончил в Ленинграде Политехнический институт и сейчас работает инженером в Иркутске. Второй — тоже инженер и тоже в Сибири. Третий — тракторист. Живет вместе со стариками. Это белокурый красавец с широкой грудью и чугунными мускулами. У него есть новый мотоцикл, охотничье ружье, замысловатые спиннинги.

— Зарабатывают у нас, будь здоров! — говорил он, сидя на диване, босой, в белой майке. Он раскинул загорелые руки на спинке дивана и покачивал на колене маленького белокурого здоровячка-сынишку. Молодая жена весело шила на швейной машине. Уютно мурлыкала кошка. Пышно росли фикусы.

— Поди, скучно все ездить да ездить? — жалел он нас. — Ну, что за интерес, не понимаю. Чего смотреть-то? Вот я радио включу и все буду знать. А то в кино пойдем. И книг у нас на этажерке вон сколько! Чего ездить-то?.. Если бы все люди богато жили, никто не стал бы ездить. Ну, разве в командировку...

* * *

Лес засасывает нас в свой зеленый мрак, и нам кажется, что мы погружаемся на дно столетий, где нет ни деревень, ни машин, ни прохожих.

Кругом болота. Под колесами чавкает и хлюпает. Останавливаемся перед черными ямами, наполненными вязкой жижей. Снимаем ботинки и засучиваем штаны. Из ямы торчат дыбом гнилые бревна — следы переправ, которые устраивали здесь шоферы. Мы подкапываем бревна под колеса. Один ведет мотоцикл, другой держит на весу коляску, чтобы она не провалилась в трясины. С обеих сторон стенами — болотистый лес. Иногда едем прямо по кустам, по кочкам. Тогда один идет впереди и отгибает в стороны гяжелые ветви. Иногда даем полный газ и пытаемся проскочить трясины. Мотор ревет. Заднее колесо буксует в черном липком месиве. Мотоцикл вязнет все глубже. Мы долго пытаемся его вытащить. Мы грязные и страшные, как лешие. Глядим друг на друга и хохочем. Сочиняем всякие проекты. Один предлагает возить с собой доски. Другой изобретает гусеничный мотоцикл. А пока нам остается выбрать сухое местечко, выпить чайку из термоса, заполнить этот листок блокнота и дожидаться какой-нибудь машины, которая вытянет наш мотоцикл на сухое место. Дождаться, может быть, придется долго, и мы соображем, как тут можно будет устроиться на почлег.

* * *

Когда мы намечали маршрут, то называли столицы республик и областные центры. О таком городке, как Белозерск, мы даже не думали — он был всего лишь точкой на географической карте. А здесь говорят: «Теперь уж недалеко до Белозерска... Когда я учился в Белозерске... Когда я поеду в Белозерск...» И мы считаем километры, оставшиеся до Белозерска. Там райисполком, редакция, гостиница... Оттуда можно позвонить в Ленинград. Там можно купить свежие газеты, заварить крыло мотоцикла.

И нам становится странно, что до сих пор мы так безразлично относились к Белозерску, к Вытегре, к Новой Ладогe, к сотням других городков, названия которых напечатаны на карте самым мелким шрифтом.

* * *

Остановились возле четырех избушек. На фоне Белого озера и светлого вечернего неба они казались обугленными. Когда закончат строительство Волго-Балтийского пути, это место зальет вода.

Возле одного дома свалена в кучу мебель.

Вдруг появилась женщина. Маленькая, сухая.

— Где тут ночевать! — злобно сказала она. — Не видите, что ли? Всех переселили. Никого уж не осталось. Затопить нас хотят. Только я все равно не уеду. Пусть затопят.

— Как же не уедете? — спросили мы. — Ведь под водой жить не будете?

— А вот и буду, — сказала она и заплакала.

Вся ее семья уже переселилась в село Липин Бор, что в трех или четырех километрах отсюда. И дочка с мужем и внуки. А она стояла перед нами и плакала. Маленькая, сморщенная, как сухой гриб.

В белой ночи уже зажглись неяркие огоньки Липина Бора. Там люди копались в огородах и садиках, тюкали топорами — строили палисадники. Парни и девушки шли из Дома культуры.

Один из парней взялся проводить нас в Дом приезжих. Он ловко вскочил на заднее седло, каким-то чудом пристроился поверх запасных канистр и скомандовал:

— А ну, шпарь прямо!

Было ему лет восемнадцать. Курносый, чубатый, веселый, он трясся позади нас и рассказывал: зовут его Васькой, раньше он жил в деревне Муньга, прошлым летом встретил медведицу с медвежатами. Эта медведица чуть его дядьку не угробила. «Дядька у меня в Череповце работает, доменщик он. У меня десятилетка, я тоже в Череповец собираюсь. Дядька на завод устроит. Там каждому отдельную

квартиру дают с ванной. Не верите, так хоть у кого спросите. В Череповце больше строят домов, чем в Москве. Раньше у нас тут глушь была. А вот канал кончат, так поезжай куда хочешь. Хочешь в Москву? Пожалуйста! Чикнут билет, и все. А то и на Черное море можно будет махнуть!..»

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОН КИХОТ ЯРОСЛАВСКИЙ

Ярославль был врезан в закатное небо трубами заводов, прямоугольниками зданий, золочеными куполами церквей.

Алексея Ковалева искали долго. Ни прохожие, ни милиционеры не знали, где та улица, которая нам нужна. Одни посылали в одну сторону, другие в другую.

Мы объездили весь город, блуждали в лабиринтах заводских корпусов и заборов, несколько раз выезжали к высокому берегу Волги. Дважды пересекли старинную площадь — там, как русские кустарные игрушки, стояли нарядные церковки, обнесенные строительными лесами.

Потом очутились в такой части города, где самому старому дому не больше пяти лет, а самый молодой еще не покрыт крышей. Улицы здесь были разрыты, лежали трубы газопроводов. Кучи песка и шпалы обозначали будущую трамвайную линию.

Возле одного дома увидели мотоцикл без одного колеса. Только отдаленно он напоминал «макаку» — так мотоциклисты называют марку «К-125». Все в нем было переделано: подвески, вилки, багажник. Все было необычное, нестандартное. Мы вспомнили нашего Алексея Ковалева, его страсть все переделывать по-своему и поняли, что этот мотоцикл может принадлежать только ему.

Вошли в длинный коридор. Там было много дверей. В какую стучать?

Из одной комнаты слышался негромкий голос. Кто-то говорил не спеша, уверенно и страстно:

— Я думаю, что самое тяжкое преступление — это ложь. Неважно, большая или маленькая. За ложь я расстреливал бы, как за убийство.

Мы уверенно раскрыли дверь и увидели его. Он сидел на корточках и снимал крышку с мотоциклетного колеса. Его плечи, локти и колени торчали острыми углами, будто весь он был собран из детского конструктора. А двое мальчишек-ремесленников слушали его, боясь проронить хоть слово.

Здравствуй, наш искатель истины, наш добрый Дон Кихот Ярославский!

МЫ ВСПОМИНАЕМ „ГОЛОС ЮНОСТИ“

Всю ночь мы вспоминали Ленинград, Дом культуры трудовых резервов и наш литературный кружок «Голос юности».

И что в нем такого, в этом кружке, похожем на сотни других литературных кружков? Почему он так связал нас на всю жизнь? Почему мы так рады, когда получаем письма от Павлика Басова, Лени Артеменко, Игоря Румянцева? Сейчас они взрослые люди, женаты, имеют детей. Басов работает бригадиром плотников на Чукотке. Скоро выйдет в свет первая книга его рассказов. Артеменко — мастер ремесленного училища в Воронеже. Он кончает университет. Его стихи нередко печатаются в журналах и газетах. Румянцев заведует клубом в Забайкальской тайге, на золотых приисках. Он пишет пухлый роман о своей таежной жизни и два раза в год присылает нам телеграммы с подписью: «Джек Лондон».

А мы их помним совсем молодыми парнями в синих форменных гимнастерках или кителях.

Мы встречались в Доме культуры, в круглой гостиной. Вдоль стен — книжные шкафы. Посредине — стол. В углу — мраморный юноша Пушкин. Ребята иногда приходили на занятия прямо из мастерских. Даже не успев переодеться. Прежде всего посылали кого-нибудь в магазин, приносили колбасы и десять-двенадцать батончиков. Колбасу нарезали большими

ломтями, и все жевали, когда начинался разговор.

Иногда у нас в кружке выступали известные писатели и поэты. А иногда мы сами выступали в детских домах.

Перед выступлением отутюживали брюки, чистили ботинки, надраивали пряжки и пуговицы. На сцену выходили все вместе. Первым читал стихи Володя Губин. Он был тогда маленький, самоуверенный и очень любил Маяковского. И стихи его были похожи на стихи Маяковского. Но писать он умел почему-то только про ужасы Уолл-стрита. А ни о чем другом не мог написать ни строки, как ни старался.

Он выходил на край сцены, становился в позу народного трибуна и, грозно вращая глазами, бросал в зал громовым голосом: «Спины разогните, негры!»

Потрясенные детдомовцы разгибали спины и смотрели на Володю с обожанием.

Потом выступала маленькая застенчивая Ева Хесина. Она очень волновалась и от волнения пищала таким тоненьким голосом, что только мы, сидевшие рядом с ней, слышали ее проникновенное признание: «Люблю тебя, мой фрезерный станок!..» Но зал, хотя и ничего не мог слышать, провожал ее такими же восторженными аплодисментами, как и Володю.

После выступления нас окружали детдомовцы. Трогали пряжки на ремнях, спрашивали: кем мы будем? Хорошо ли нас кормят? И здорово ли у нас дерутся? А в благодарность за выступление вели в столовую и поили компотом из сухофруктов.

Мы вспоминали Толю Татарчука, нашего могучего атлета с добрым, доверчивым лицом и детскими пухлыми губами. Сейчас он служит в армии, а тогда учился в ремесленном училище. Когда в «Комсомольской правде» были опубликованы его стихи, он получил двадцать восемь писем. Писали ему только девушки. С Урала, из Чехословакии, из Средней Азии, из Польши. Все они хотели с ним познакомиться или хотя бы завязать переписку. Он принес все письма на занятия кружка. Большой и смущенный,

он стоял перед нами с пачкой писем в руках и спрашивал: что с ними делать? И весь вечер, мы все вместе отвечали на письма.

Девушек у нас в коллективе было мало, а разговоров о девушках — много. Все ребята по очереди влюблялись, но особенные хлопоты доставила нам любовь Жени Синицына, самого восторженного нашего лирика.

Женя был всегда весел и всегда влюблен. Он немало заикался, и это придавало особую прелесть его шуткам и его признаниям. Однажды в Театре Ленинского комсомола он познакомился с девушкой. У нее была челка, ее звали Нина, и она сказала, что живет в Гавани. А проводить себя не разрешила.

Два дня после этого Женя бродил по Гавани в надежде ее встретить. Он был не на шутку влюблен, бедняга! Мы даже не думали, что он может так серьезно влюбиться. Даже стихи стал писать грустные и не смеялся и не шутил.

Ребята решили ему помочь. В воскресенье все отправились в Гавань. Ходили из дома в дом, расспрашивали дворников и ребяташек, не живет ли в этом доме девушка с челкой, по имени Нина.

Нашли шесть Нин, но без челок. Четырех девушек с челками, но не Нин, и одну Нину с челкой, но не ту — ей было уже под тридцать и в Театр Ленинского комсомола она не ходила.

А ту нашел Слава Трусов. Он вызвал ее на площадку лестницы и сказал:

— Ты меня не знаешь, я из Дома культуры трудовых резервов. Один наш парень уже целую неделю тебя разыскивает, все стихи про тебя пишет.

Мы представляли себе, как, наверное, Слава покраснел, когда говорил с девушкой. Он был очень стеснительный.

Слава приехал из какой-то глухой деревни. У нас на занятиях он понял, как мало до сих пор прочитал книг, и рассердился на всех, а больше всего на себя. Днем он учился в железнодорожном учи-

лище, вечером ходил в общеобразовательную школу, а в промежутке чуть ли не через день бывал в библиотеке с чемоданом и набивал его книгами. За одну зиму он прочитал столько, сколько другие не прочитали и за десять лет. Читал преимущественно по ночам. Когда в комнатах общежития тушили свет, Слава выходил в коридор и с книжкой в руках садился на пол под лампочкой.

Долгое время он все молчал и своего мнения о прочитанных книгах не высказывал. Нахмурится, выставит упрямый лоб и жесткую шевелюру и махнет рукой:

— Не знаю!..

А однажды высказался:

— Прочитал я этого вашего Диккенса, все враки!..

И по поводу Достоевского сказал, что враки. И Шекспир писал одни враки. Только «Поднятая целина» понравилась:

— Вот это что надо!

Он писал рассказы. В них действовали одни только воры и хулиганы. Мы говорили:

— Страшноватый рассказ.

Он отвечал:

— Зато правда. Врать не заставите. Все писатели врал и врут, а я врать не буду.

Это было в 1953 году. Слава тогда окончил железнодорожное училище и работал плотником. Его поместили в общежитие вместе с бывшими уголовниками, освобожденными из лагерей по амнистии.

Возле койки Славы стояла тумбочка с книгами. Он пристраивался на койке и писал. А кругом шумели пьяные, пили, дрались, звенели разбитые бутылки. Каждый день милиция забирала то одного, то другого. Прощаясь, они говорили:

— Не пей, Славка! Не воруй. Станешь писателем, жить будешь не хуже урки.

Мы пошли в горком комсомола. Славу перевели в другое общежитие.

Сейчас он уже отслужил в армии и собирается поступить в университет. Он работает плотни-

ком на стройке и пишет рассказы о своих новых друзьях.

У большинства ребят из нашего кружка не было родителей. Многие воспитывались в детских домах.

Биография Сергея Б. была запутанной и темной. Он был красивый парень с умными и дерзкими глазами, но весь какой-то помятый — никогда не гладил брюки, по месяцу не менял рубашку, на его будто жеваном пиджаке всегда были обтрепанны рукава.

Он окончил ремесленное училище и по специальности был слесарем. Мы до сих пор не знаем, сколько лет он учился в школе. Иногда он говорил, что окончил всего четыре класса. Иногда — что у него семилетка. Было у него и свидетельство об окончании десятилетки.

Сергея мы полюбили сразу. С ним было интересно разговаривать. Он говорил о философии Толстого, о Ницше, о Дарвине, об искусстве древних инков. Однажды он даже прочитал нам целую лекцию о Бальзаке, хотя потом оказалось, что ни одной строки Бальзака не читал.

Он почему-то нигде не работал. Жил в маленькой комнатке вдвоем с матерью. А мать работала на табачной фабрике. Сухонькая седая женщина, всегда с папироской во рту. Она не была родной матерью Сергея, но он узнал об этом только в четырнадцать лет, когда застал в комнате незнакомую женщину с неприятным лицом. Она откуда-то приехала и в тот же день куда-то уезжала. Это была его настоящая мать. Когда она ушла, Сергей сказал: «Лахудра!»

С отцом Сергей познакомился еще позже. Отец был инженер. Он сидел в своей комнате, а в соседней были его жена и дети. Отец спросил:

— Где учишься?

Сергей ответил:

— В университете. На филологическом.

Отец сказал:

— Молодец, молодец!.. Ну что ж, заходи когда-нибудь.

Больше Сергей у него не бывал.

Он вставал в шесть утра и садился за книги. Читал весь день, не выходя на улицу. Читал и писал. Весь день, весь вечер, полночи. От духоты и табака становился желтым. Ложился, когда уже светало. Каждую ночь у него были кошмары. Ему казалось, что он умирает. Хотел закричать — и не мог. Хотел поднять руку — и тоже не мог. Он очень боялся смерти, часто думал о ней и с каким-то особым оживлением рассказывал о самоубийствах.

В Дом культуры он приходил небритый, горбился, был похож на веселого, неряшливого старикашку.

У него никогда не было ни копейки денег ни на папиросы, ни на трамвай. Папиросы ему покупала девушка, которая его любила. И в кино она платила за него.

В его образе жизни было что-то оскорблявшее всех нас. Из-за этого мы однажды поссорились.

— Ну и черт с вами! — сказал он надменно и зло. — Больше я сюда не приду.

Два месяца он не приходил в Дом культуры. Вообще не выходил из дома. А потом пришел.

— Больше я так не могу, — сказал он. — Не могу один. Лучше не жить совсем.

И стал убеждать нас, что все человечество обязано поклоняться ему за то, что он чувствует в себе талант.

В этот вечер мы опять поссорились. Он ушел один, ни с кем не попрощавшись, самоуверенный, злой и несчастный.

А когда он ушел, кто-то из нас сказал:

— Я боюсь, ребята... он мне как-то говорил... он уже хотел один раз выброситься из окна.

И тогда нам представилось, как он возвращается в свою маленькую комнатку на седьмом этаже, к своим книгам, к рукописям и одиночеству. Мы не верили, что он действительно покончит самоубийством, но у каждого была мысль: а вдруг?..

Весь этот вечер у нас не получался разговор. После занятий не хотелось расставаться. Какая-то тревога и предчувствие беды объединило нас. Мы долго ходили по улицам. И ночью пошли к нему.

Сейчас Сергей работает слесарем. Его веселые рассказы из рабочей жизни печатаются в газетах и передаются по радио.

О наших товарищах из «Голоса юности» мы могли вспоминать до утра. Но Алексей Ковалев взглянул на часы и сказал:

— Без трех минут три. Пора спать.

И мы легли спать, потому что рано утром надо было ехать дальше, уже втроем.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Алексей Ковалев ехал за нами, не отставая и не обгоняя. Мы быстрее, и он быстрее. Мы медленнее, и он медленнее. И когда бы мы ни обернулись, он улыбался весело и добродушно. А мы злились.

Старший злился потому, что ему казалось, будто мы едем слишком быстро. А младшему казалось, что мы едем слишком медленно. Кто из нас был прав, не знаем и до сих пор.

Старший вспоминает об этом так: «Когда мы выезжали на асфальт, младший просто не мог оставаться спокойным, если замечал, что перед нами мчится какая-нибудь машина. Тогда он вдохновенно бросался в погоню и несся как сумасшедший, пока преследуемая машина не оказывалась позади».

Младший вспоминает иначе: «Когда ехали проселком или по булыжнику, у нас были наилучшие отношения, но стоило выехать на асфальт, как старший глядел на меня с таким отчаянием, будто я мчусь вместе с ним прямо на тот свет».

Старший сказал:

— Еще немного, и мы достигнем первой космической скорости. Если ты не сбросишь газ, то дальше можешь ехать один.

Младший ответил:

— Мы ползем как черепаха. Если ехать еще медленнее, тогда лучше вы поезжайте один, а я пойду пешком. Может быть, к вечеру вы меня и догоните.

Младший думал: «Он всегда меня обижал. Он

только и старается меня обидеть. Ну и характер! Убей меня бог, если я еще раз поеду со стариком!»

А старший думал: «И как я только терплю? Он все время норовит делать мне гадости. Нет уж, дудки! Больше меня в эту компанию не заманишь!»

Так мы думали, мчась с сумасшедшей скоростью, как считает старший, или ползя со скоростью черепахи, как считает младший. И, злясь друг на друга, нисколько не радовались чудесному утру, зеленоватому небу и облакам на горизонте. Облака все время меняли очертания и окраску и казались то вершинами гор, то невероятными рыбами или чудищами. А потом они превратились в белокаменную столицу царя Додона.

Она сверкала золотом и яркими сказочными красками. Мы видели колокольни с огненными луковками, зубчатые стены, и высокие терема, и золотых петушков над теремами.

Петушки поворачивались в разные стороны и, наверное, поскрипывали тоненько и серебристо.

Мы остановили мотоциклы перед зубчатыми стенами кремля. И хотя терема были обнесены строительными лесами, а в праздничные ворота, ревя, въезжали грузовики, кто-то отворил золотым ключиком наши сердца, и мы долго стояли, опаленные жаром куполов и сказок.

А когда поехали дальше и Ростов-Ярославский остался позади, младший думал: «Это очень хорошо, что города меняются постепенно, не так, как декорации в театре. И что, путешествуя, можно видеть не только то, что есть, но и то, что было». И еще он думал: «И как мне повезло, что у меня есть старший товарищ, который открыл мне радость путешествий, и какой он, в сущности, добрый и славный старик».

И, повернувшись к старшему, он сказал:

— Может быть, мы едем слишком быстро?

А старший в это время думал: «Как хорошо, что в мире такое разнообразие красок и форм. Как беден и жалок был бы мир бескрасочный и геометрический». И еще он думал: «И как радостно, когда

рядом с тобой товарищ, который все понимает и чувствует так же, как ты. И какой он, в сущности, добрый и славный малый».

И старший ответил младшему:

— Ну что ты! Пожалуй, прибавь-ка газку! Не плохо бы обогнать вон ту машину! — И он указал туда, где в далекой перспективе шоссе мчалась к Москве машина.

ГОВОРИТ ДОРОГА

Дорога вела с нами разговор от самого Ленинграда: на обочинах стояли большие щиты с надписями. Они убеждали: «Водитель! Держись правой стороны!», «Не превышай скорости!», «Неправильный обгон ведет к аварии».

А иногда мы слышали тревожный крик. «Осторожно! — кричали полуметровые буквы. — Крутой поворот!»

Данилов встретил нас дружеской надписью: «Добро пожаловать! Город Данилов приветствует дисциплинированных водителей!» А проводил он такими словами: «Приезжайте снова. Желаем счастливой дороги!»

Дорога разговаривала с нами на разные темы.

Больше всего она рассказывала о колхозах. Недалеко от Новой Ладоги придорожные надписи сообщали нам, что колхоз «Ленинское знамя» обязуется вырастить на каждом гектаре по 12,3 центнера зерновых, по 190 центнеров овощей и по 137 центнеров картофеля. А от каждой курицы-несушки колхозники обязались получить по 145 яицек.

Потом мы читали обязательства колхоза «Родина», и колхоза «Заря», и колхоза «Россия»...

Мелькали километровые столбы, мелькали деревни, мелькали надписи на щитах. Некоторые надписи были такие длинные и сделаны таким мелким шрифтом, будто их авторы хотели уместить на фанерном листе полный текст резолюции колхозного собрания. Если бы мы попытались, не останавливая мотоцик-

лов, прочитать их до конца, то обязательно очутились бы в канаве или налетели на встречный грузовик.

Иногда надписи были украшены картинками: краснощекие доярки доили пестрых коров на ярко-зеленом поле. Или — рог изобилия. Рог был золотой, и из него сыпались коричневые картофелины, красные морковки и голубые кочаны капусты.

Надписи были как страницы книги. Это замечательная книга семилетнего плана.

Мы тогда еще не знали, что будем перелистывать эту книгу час за часом, день за днем все четыре месяца, что дороги Алтая и Казахстана будут рассказывать нам о хлебе, в Узбекистане — о хлопке, в Грузии — о чае, на Украине — о свекле. Мы тогда еще не знали, что Омск встретит нас обещанием: «Превратим наш город в город-сад», а на синем фоне Черного моря будут отчетливо выделяться белые буквы: «Девиз севастопольцев — высокопроизводительный труд, порядок и дисциплина!»

Мы тогда еще не знали всего этого, но дорога уже втянула нас в свой дружеский и горделивый разговор, и нам казалось, что, рассказывая о своих делах и планах, каждая деревня и каждый город спрашивали у нас: «А что делаете вы, друзья? Куда едете? Какие у вас планы?»

И нам тоже захотелось написать свои планы и обязательства.

В Загорске мы купили тушь и чертежную бумагу. Доехав до опушки ближайшего леса, свернули с шоссе и, расположившись на полянке, вывели, как умели, на полоске ватмана названия городов, которые лежат на нашем пути.

Надпись получилась не очень красивая, но броская. Мы наклеили ее на ветровое стекло «ИЖа», и теперь каждый встречный мог прочитать: Ленинград — Новосибирск — Усть-Каменогорск — Алма-Ата — Фрунзе — Ташкент — Ашхабад — Баку — Ереван — Тбилиси — Кишинев — Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин — Ленинград.

Это был наш маршрут — наше обязательство.

Мы понимали, что в масштабах государственных дел наше обязательство очень незначительно. Ну что ж, ведь не все обязательства так уж значительны. Ведь и те курочки-несушки, которые намерены снести по 145 яиц, не претендуют на мировую славу! Каждый делает свое дело, а это — главное.

И со своим скромным обязательством на ветровом стекле мы поехали дальше, навстречу новым придорожным надписям, навстречу их дружескому разговору.

А ЭТО ПОМНИШЬ?

В Москву мы не заезжали. По окружной дороге выехали с Ярославского шоссе на Горьковское. Ночевали на пересечении двух дорог. Сегодня с утра едем по шоссе Москва — Казань. В прошлом году мы проезжали здесь на велосипедах. Не хочется ехать по одной и той же дороге вторично, ведь вся прелесть наших путешествий в том, что каждый день видишь что-то новое. Но делать нечего. Наш путь лежит через Горький и Казань к Ижевску.

Шоссе несет нас, как река, широкая и полноводная. По бетонному простору мчится много машин. Они мчатся с предельной скоростью, и каждая машина, которая догоняет нас или которую догоняем мы, как бы подзадоривает: «А ну, давай жми!..» И мы ждем в каком-то упоении скоростью. На спидометре уже семьдесят... семьдесят пять... восемьдесят... «А ну, давай жми, давай!..» Мелькают деревни и города, они почти сталкиваются друг с другом. Мы снисходительно поглядываем вокруг и чувствуем, как в наши души закрадывается опасное самодовольство.

Поля, леса, мосты, деревни. Поля, леса, мосты, деревни. Деревни похожи одна на другую: одинаковые домики с мезонинами, наличники на окнах, антенны над крышами. Пасмурный день красит их в серую краску.

Скоро должны быть речка Киржач и та деревня на ее берегу, поэтический облик которой запомнился

нам на всю жизнь. И вот какая-то речка. Мы останавливаемся, чтобы спросить, далеко ли еще до Киржача.

Нам говорят:

— А это и есть Киржач.

— Это и есть?

Мы оглядываемся: деревня как деревня, ничего примечательного, только, может быть, деревьев поменьше, чем в других, и наличники не такие затейливые, да девушки не очень приветливы: окликнули одну, а она даже внимания на нас не обратила.

А мы-то в прошлом году писали: «Красивое слово — Киржач, русское и песенное. Песенные наличники на окнах, песенные рябины у ворот и песенные девушки заглядывают нам в глаза».

Что же это за обман? Может, тогда нас обмануло солнце? Или сейчас обманывают тучи?

Вот тебе и одна и та же дорога!

— А эту рощу помнишь?

— А эту деревню?

— А этот мост?

Ну, конечно, помним. И мост, и деревню, и рощу.

...В этой роще мы в прошлом году устроили привал. Там нашли ручеек с такой вкусной водой, что не надо было ни лимонада, ни чая. Теперь туда не заедешь. Там что-то строится, у ручья стоит бетономешалка и штабелями уложен кирпич.

...А в этой деревне нам в прошлом году не уступила дороги ленивая хрюшка. Напрасно мы звонили, кричали, махали руками. Она не сдвинулась с места, пока один из нас не перелетел вверх тормашками и через хрюшку и через свой велосипед. Вот тогда она поглядела на нас с любопытством и отошла в сторону.

Теперь мы увидели здесь трех парней с красными повязками на рукавах. С виду они похожи на школьников, а держатся, как генералы. «Быстро едете», — сказал один. «Ваши документы», — сказал другой. «Покурим!» — сказал третий. Это общественные автоинспекторы и колхозные дружинники. Дежурят уже два часа, и хоть бы одно происшествие! «Вот вчера

нашим ребятам повезло, — сказал один, — задержали пьяного шоферюгу».

Им скучно и очень хочется нас задержать. Они такие славные ребята, что мы даже чувствуем угрызения совести оттого, что ни в чем не провинились.

А вот и тот мост, где в прошлом году кончался новый участок шоссе и все автомобили сворачивали на узкую и разбитую старую дорогу. Она вела вдоль высокой песчаной насыпи. По насыпи медленно двигались широкие бетоноукладывающие машины. У их штурвалов стояли загорелые парни в широкополых шляпах, а девушки укрывали мешковиной влажный бетон.

Теперь мы несемся по этой насыпи, и колеса наших мотоциклов легко и весело вздрагивают на стыках бетонных плит.

Почему мы раньше думали, что дважды ехать по одной и той же дороге скучно?

Да и вообще разве бывает какая-нибудь дорога одной и той же?

ХУДОЖНИК НА ШОССЕ

На обочине стоял мотороллер. А на дороге среди мчащихся автобусов, грузовиков, легковых машин и мотоциклов расположился со своим мольбертом немолодой художник. Он хилый и тоненький, как мальчик, у него острые скулы, а на костистый лоб спадает прядь седых волос.

Машины проносились мимо него. Шоферы высывались из кабин и грозили кулаками. А он стоял посреди дороги с кистью в руке и пытался запечатлеть на полотне скорость.

— Будь она проклята, эта скорость, — сказал он с отчаянием и вдохновением, — никак не пойму, в чем ее зрительная суть. А тут еще шоферы ругаются и гаишники гонят на обочину.

На полотне были изображены шоссе, автобус и лес. Лес казался живым — вот-вот прошелестит по верхушкам деревьев ветер. И шоссе казалось жи-

вым — недавно прошел дождь, и бетон подсыхал. Было видно, как он дышит. Только автобус стоял неподвижный, как камень.

— Целую неделю бьюсь, — сказал художник. — Каждый день сюда приезжаю. Ничего не получается. — И вдруг попросил с виноватой улыбкой: — Вернитесь, пожалуйста, к повороту, а потом давайте прямо на меня, побыстрее, на полной скорости. Никак мне ее, проклятую, не поймать. Хоть ты что! Только не задавите, пожалуйста.

Мы вернулись к повороту и понеслись на художника. Мы пронеслись мимо него, чуть не сбив мольберт. А когда оглянулись, он был уже далеко позади — маленький, отчаянный, счастливый человек среди мчащихся на него машин.

А В ПАУЗАХ ПОЕТ СОЛОВЕЙ

Шестнадцатую ночь мы проводим в Чувашии, недалеко от шоссе, возле маленькой полуразвалившейся избушки. Двери в ней нет, стекла выбиты, печь разрушена. Наверное, уже много лет здесь никто не живет. Мы натаскали сюда веток орешника, расстелили их на полу и собрались спать.

Но спать нам не хочется. Мы уже поужинали и сейчас сидим возле мотоциклов и слушаем музыку. Наш маленький дорожный радиоприемник стоит на седле мотоцикла. Антенна закинута на крышу избушки. Сегодня Москва транслирует концерт из Брюсселя. Великолепный оркестр исполняет Бетховена и Баха. А в паузах поет соловей. Он поет так: «Ах-ах! Вот я тут. Тут. Тут. Тут».

Избушка стоит посреди небольшой поляны. Поляна освещена луной и поблескивает, как озеро. С трех сторон она окружена рощей. Роща густая и черная. Дубы там тяжелые и важные, а гнилушки светятся, как волчьи глаза.

На небе очень много звезд. И одна звезда медленно движется. Она ничем не отличается от других — такая же далекая и загадочная. Она плывет

по небу, среди созвездий и планет, пересекает Млечный Путь и плывет дальше. Что это? Самолет? Спутник?

Из-за рощи доносятся негромкие голоса, лошадиный храп и шелканье кнута. Там пасутся лошади. Две всадницы выехали из рощи и остановились на опушке. Это девушки-чувашки. Они закутаны в платки. У них широкие лица и черные испуганные глаза. Они постояли в отдалении, послушали вместе с нами музыку и скрылись опять среди дубов.

Иногда в той стороне, где шоссе, возникает зарево. Оно возникает, разгорается и гаснет. А потом по насыпи проносятся яркие фары. Они проносятся бесследно, как будто летят в другом мире. А здесь, в этом мире, — неистовая луна, неподвижные дубы, искрящаяся от росы трава и такая вечность, что все нам кажется небывало значительным.

Мы сидим и молча слушаем музыку. Нет, не из маленького пластмассового ящичка льется эта негромкая музыка. Это звучит ночь, и луна, и роща, и шоссе, и та загадочная звездочка, которая пересекает Млечный Путь.

А в паузах поет соловей: «Ах-ах! Вот я тут. Тут Тут. Тут».

Спасибо тебе, земля. Спасибо тебе, небо. Спасибо тебе, соловей. Спасибо вам, люди.

ЗЕЛЕНАЯ РАПСОДИЯ

В прошлом году от Казани мы направлялись к Уфе. Мы видели страну нефти и газа, страну новых городов и новых дорог. Повсюду были буровые вышки, маленькие серебристые цистерны нефтяных скважин и факелы горящего газа.

Теперь едем от Казани к Елабуге. Нет ни скважин, ни факелов, только вышки разведчиков нефти. Они шагают по полям, вдоль дорог, все дальше и дальше на север. Наверное, скоро и тут появятся новые города и серебристые цистерны будут накапливать и накапливать черную кровь земли.

А новые дороги уже строятся. Из леса выползают бульдозеры. Это могучие тракторы с громадными лопатами. Они ползут навстречу друг другу, загребая перед собой песок и наваливая его на дорогу. Медленно вползают они на насыпь, пятятся, разворачиваются и ползут обратно, а на дороге остаются кучи песка, холмы, горы песка.

Татарские села праздничны и нарядны. Праздничны они потому, что повсюду строятся новые дома, а строительство нового дома — всегда праздник: звонко тюкают топоры, золотятся обструганные бревна.

А нарядны деревни, пожалуй, от скворечников. Скворечники водружены над крышами. Они построены, как маленькие избушки, — ярко раскрашенная избушка с дверцей, окошечком и резными узорами. Над каждым человеческим домом — маленький домик для птиц.

Остается позади деревня, и снова расстилается зеленый мир. Слева и справа — поля пшеницы, ржи, овса, кукурузы. И все зеленое-зеленое. Только одно поле чуть светлее, другое — темнее, третье — такой зелени, какой бывает иногда небо, четвертое — как море, а пятое — как бирюза. Есть зелень суровая, а есть нежная, есть веселая зелень и есть величественная. Все зеленое, и все разное. Зеленая стихия. Зеленая мозаика. Зеленая рапсодия.

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ ИЩЕТ ИСТИНУ

У нашего мотоцикла отличный голос. Мы можем узнать его, если даже десять мотоциклов будут петь хором. И нам кажется, что ни один мотоцикл на свете не поет так бодро и торжественно, как наш.

Но вдруг мы настораживаемся: что это?

Оба прислушиваемся. И слышим. Или только кажется, что слышим? Нет, действительно: к славному голосу мотора примешался какой-то подозрительный звук: не то писк, не то скрип или позвякивание. Вот он!.. Еще раз!.. Опять!.. И — конец бодрости и тор-

жественности. Теперь мы не замечаем ни пейзажей, ни деревень, ни облаков. Мы не можем думать ни о чем другом. Может быть, это стучит поршневой палец? Или задралась ось? Или разваливаются подшипники?

Сквозь шум мотора не так-то легко определить, откуда доносится едва различимый скрип. Мы вслушиваемся и вслушиваемся. Наклоняемся то вправо, то влево. Стараемся разглядеть и переднее колесо, и заднее, и цепь, и подвески. Для этого приходится вставать на подножки, почти вылезать из коляски, ехать боком, иногда чуть ли не задом наперед. А мотоцикл в это время идет по дороге сам по себе, куда ему вздумается, и только когда навстречу выносится машина или мы оказываемся у самого кювета — только тогда кто-нибудь из нас (иногда это тот, кто сидит в коляске) судорожно хватается за руль. А когда минует опасность, мы опять забываем о дороге и думаем все о том же: палец? ось? подшипник?

Если мы сами не можем установить происхождения писка или скрипа, то зовем на помощь Алексея Ковалева. Алексей Ковалев — высший авторитет во всем, что касается техники.

Он подходит к мотоциклу, как доктор к больному. «Спокойно, — говорит он, — не надо волноваться», — и вздергивает на лоб очки-консервы. Высокий, сухой, важный, он неторопливо выслушивает и выстукивает машину, обходит ее со всех сторон, нажимает пружины, покачивает колеса. Он не торопится поставить диагноз.

Окончив исследование, Алексей Ковалев боком садится на край коляски и долго молчит. Мы знаем, что в это время нельзя ему мешать, и молча ждем приговора.

— Ничего страшного, — говорит он. — Подвеска. До Ижевска доедем.

Другого такого мотоциклетного диагноста мы не встречали никогда в жизни. Не зря он два года работал главным механиком школы механизации сельского хозяйства. Но сам он объясняет безошибочность своих диагнозов иначе:

— Самое важное — во всем доискаться истины, особенно в технике. Это ерунда, что, мол, истина относительна. Истина абсолютна. Главный враг человечества — приблизительность. — И, опустив на глаза страшные очки-консервы, он не спеша идет к своей «макаке».

Мы едем дальше. Опять бодро и торжественно поет наш мотор. И хотя мы ясно различаем тоненький писк и знаем, что правая подвеска не в порядке, нам не страшно. Ведь Алексей Ковалев докопался до истины. А истина, как бы она ни скрипела, ни пищала и ни побрякивала, это все-таки истина. Она никогда не испортит музыки.

В ИЖЕВСКЕ

На самой окраине Ижевска мы остановились возле милиционера:

— Как проехать к гостинице?

Он объяснил, потом взглянул на наш маршрут и спросил:

— Ну, а как вам наш город? Понравился?

Через несколько дней, уезжая из Ижевска, мы остановились возле милиционера на другой окраине.

— Как выехать на Воткинское шоссе?

Он рассказал, а потом спросил:

— Ну, а как вам наш город? Понравился?

В промежутке между этими двумя разговорами нам задавали тот же вопрос все другие ижевцы, с которыми мы встречались: горничные в гостинице, инженеры и рабочие на заводе, испытатели мотоциклов и даже зубной врач, который вырвал у одного из нас больной зуб.

— Ну, а как вам наш город? Понравился? — спросил он и, по-видимому, нисколько не сомневаясь, что город понравился, тут же добавил: — А теперь сткройте рот пошире и больше не разговаривайте.

Город нам действительно очень понравился. В нем много садов, недавно построены великолепные

здания, от которых не отказался бы любой столичный проспект, есть прекрасная Публичная библиотека, музыкально-драматический театр и пять высших учебных заведений. Город расположен на берегу красивого озера.

Особенно нам пришлось по душе то, что в Ижевске больше мотоциклистов, чем в любом другом городе. На мотоциклах едут парни, девушки, старики и старушки. Да, старушки тоже. И мотоциклистов уважают здесь даже шоферы и милиционеры. А в каком еще городе мотоциклистов уважают шоферы и милиционеры?

В Ижевске в 1927 году был создан первый советский мотоцикл. Его называли «ИЖ-1». Но мотоциклы стареют быстрее, чем люди. На протяжении жизни одного поколения людей сменяются несколько поколений мотоциклов. Старики еще помнят «ИЖ-8». Люди средних лет ездили на «ИЖ-350». После войны появились «ИЖ-49», а в 1957 году начато производство «ИЖ-56».

Каждое поколение машин несет на себе печать технического и научного прогресса и возросшей культуры инженеров, рабочих, спортсменов.

Мы путешествуем на мотоцикле «ИЖ-56». Это отличная машина, и если кто-нибудь говорит, что «Ява» или «М-72» лучше, мы обижаемся и отвечаем:

— А нам лучше и не надо, нас и эта машина вполне устраивает.

Но вот мы на заводе, где наш мотоцикл впервые встал на колеса, где всосал он первую каплю бензина, где забилось его горячее сердце.

В мастерских и лабораториях специального конструкторского бюро создаются новые образцы машин. Здесь мы знакомимся с молодыми людьми спортивного вида. Почти все они друг с другом на «ты». У них засучены рукава, а руки — загорелые, крепкие, рабочие. Кто тут инженер-конструктор, кто слесарь, а кто гонщик-испытатель — не разберешь.

— Это машина вчерашнего дня, — говорят они о нашем мотоцикле. — А вот машины завтрашнего дня: «ИЖ-Сатурн», «ИЖ-Сириус», «ИЖ-Орион».

— Почему такие космические названия?

В ответ смеются:

— А как же! Космическая прочность! Космическая скорость!

Смеются здесь дружно, шутят громко, спорят горячо. В открытые окна врывается рев моторов. Два человека в синих комбинезонах возятся со спортивными машинами. Сначала они поигрывают газом, как бы раззадоривают моторы, потом с ходу кидаются вперед. Мотоциклы встают на дыбы, и из-под их ребристых покрышек взлетают фонтаны земли и пыли.

— Вот это и есть нормальная творческая обстановка, — смеется ладный голубоглазый парень. Он наклонился возле мотоцикла и отворачивает гайки. — Нам что-то не хочется сидеть за столом с таким видом, будто болят зубы, и говорить, что это муки творчества. Для нас творчество не мука, а радость, ведь мотоцикл — машина веселая, озорная.

— Это кто, инженер или рабочий? — спрашиваем мы у начальника конструкторского бюро Савелия Яковлевича Фишера.

— А у нас это, так сказать, явление скользящее. Вчера рабочий, сегодня инженер...

Савелий Яковлевич только что примчался откуда-то на своем мотоцикле и лихо соскочил с седла. В руках у него кожаные краги. На лице очки-консервы. Держится он не по-начальственному — просто, весело.

— Только четыре года назад я окончил вечернее отделение Ижевского механического института, — говорит он. — До того работал техником. А вот начальник конструкторского бюро текущего производства еще учится в институте. Тоже на вечернем отделении. А рыжий Витька хотя и работает простым слесарем, но раньше или позже обязательно станет главным конструктором. Верно, Витька?

— Чем позже, тем лучше, — отвечает Витька.

Витьке девятнадцать лет. Только в прошлом году он окончил школу. Это парень такого внушительного

роста и такой богатырской комплекции, что если взять старшего из нас, добавить к нему младшего и еще половину Алексея Ковалева, то получится один рыжий Витька.

Мы называем его Витькой, потому что так называют его все и еще потому, что он нас специально об этом просил.

— А то еще напишете обо мне в газете или книге и прославите на весь Советский Союз. А так — Витька и Витька! Мало ли на свете Витек?

Пока начальники разглядывали нашу дорожную карту и обсуждали, чем они могут помочь, рыжий Витька подошел к нашему мотоциклу и сказал с добродушной мальчишеской нежностью:

— Помыть бы его!

И поташил мотоцикл к шлангу. Из шланга хлестала вода, а Витька сидел на корточках и бережно отколупывал щепкой присохшую к колесам грязь.

Витька помог нам разобрать машину, вместе с нами промывал детали, бегал на склад с записками начальников за теми деталями, которые следовало заменить, и если не мог получить их официально, то выклянчивал у кого придется, объятый бескорыстной любовью к путешествиям и путешественникам.

И все время он рассуждал на разные темы. Например, о девушках:

— А ну их, — говорил он, — с ними будешь водиться, ни на что другое не останется времени!

Или о городе:

— Город наш разглядеть трудно — деревья мешают. Хорошо еще, что в новых районах деревьев пока мало, а то и не видно было бы, сколько у нас строят. Вот только жалко, что новый стадион кончили. Раньше, если билетов не достать, через забор махнешь — и все. А теперь — дудки!

Или о вождении мотоцикла:

— Я, сколько себя помню, всегда водил мотоцикл. Совсем еще вот таким пацаненком был, а уж сядешь на мотоцикл, и давай!.. А чего тут учиться? Включил газ, отпустил сцепление — и поезжай. Это только паралитик не может на мотоцикле ехать.

Или о себе самом:

— Конечно, все поступают в вуз, и мне придется. Только, по правде сказать, я не понимаю, почему надо обязательно всем быть инженерами? Вот у нас — возьмите рабочих: все тонкости машины знают не хуже инженеров да и зарабатывают не меньше. А окончишь вуз, тебя куда-нибудь в проектный институт еще засунут, и сиди там! А тут разберешь, соберешь, все сам, а то еще на испытания возьмут. Вы поедете на испытания?..

На испытания мы поехали. Испытывались вилки новой конструкции. С оглушительным воем промчались через город шесть машин, вырвались в сосновый лес, в клубах пыли понеслись по лесному проселку — искали дорогу похуже.

Отчаянно и лихо мчались инженеры. Осторожно вели машины гонщики-испытатели (оказывается, испытателями мотоциклов берут только самых осторожных и сдержанных гонщиков. Все это люди спокойные, неторопливые и самое их любимое занятие — собирать в лесу грибы).

Один из нас едет на мотоцикле Эрика Александровича Орлова. Это невысокий коренастый тридцатилетний человек. С двенадцати лет он работает на заводе. До недавнего времени работал слесарем и занимался мотоспортом, теперь стал испытателем дорожных машин. Говорит он мало и как бы нехотя. Перед тем как ответить на вопрос, долго думает.

Спрашиваем, как выглядит дорога при скорости 120 километров в час.

Он долго думает, потом отвечает:

— Обыкновенно.

Спрашиваем, бывал ли он в серьезных переделках.

Опять долго думает:

— Нет, не бывал. Один раз, правда, было. На полном ходу сломался руль. Хорошо, канава была мягкая.

Впереди кто-то машет рукой. Вот она, наконец, самая плохая дорога — ухаб на ухабе, да еще поперек прорыга канава.

— Ну теперь, писатель, держись!

Эрик Орлов получше усаживается в седле, крепче ухватывает руль, весь как бы сжимается и ждет сигнала.

Пошли! Полный газ. Скачок. Свист в ушах. Еще скачок. Заваливаемся набок. В лицо летят комья земли. Опять скачок.

— Цел, писатель?

Когда мотоцикл остановился, все бросились осматривать вилки. Целехоньки. Это вызывает не радость, а даже как будто некоторое разочарование:

— Какая же это плохая дорога? Подумаешь, канавка! Нет, ребята, надо поискать дорогу похуже.

Жара. Пыль. Люди снимают рубашки и брюки, остаются в трусах. Выехали из города, были все молодыми: брюнеты, блондины, рыжие. А сейчас стали стариками: седые от пыли волосы, седые брови, седые ресницы.

Едем дальше. Теперь уже совсем без дороги: по кочкам, сквозь кусты и ветви. Спускаемся в овраг, там повалены деревья, глубокий ров, за ним куча бревен.

— А ну, давай!

Полный газ. «Держись, писатель! Хватайся за что можешь!» Взлетаем вверх, падаем вниз, опять вверх, опять вниз. Что-то треснуло. Коляска в воздухе. Одно колесо коснулось земли. Перевернемся? Не перевернулись. Странно! Опять вверх. Вниз. Вверх. Стоп. «Ну как? Все ребра на месте?»

И снова люди собираются вокруг мотоцикла, щупают вилку, спорят, шутят, смеются. Хороша вилка! Ничего не скажешь, хороша! Хоть с трамплина прыгай.

Когда возвращаемся обратно в город, продолжаем разговор с Эриком Орловым.

— А все-таки, признайтесь, иногда бывает страшновато?

Он долго думает.

— Бывает. Особенно когда летишь с мотоцикла, а куда упадешь, не знаешь.

— А что для испытателя самое главное? Смелость? Знание машины? Опыт вождения?

— Самое главное?.. Самое главное, наверно, это уметь падать. Водить мотоцикл всякий может, а вот падать — этому надо поучиться.

Через несколько дней наш мотоцикл был полностью готов к дальнейшему путешествию. Он стоял возле ворот завода. К коляске были привязаны два новых колеса, а сверху уложен рюкзак, туго набитый запасными частями — подарками завода.

Прощаться с нами вышли инженеры, мастера, испытатели. Кто-то принес маленький пузырек бакелитового клея («авось, пригодится»), кто-то давал последние советы (самым существенным из них был «побыстрее избавиться от лишнего груза»), а рыжий Витька все не выходил из ворот.

— Где же Витька? — спросили мы.

— Его не отпускают, — сказали нам. — У него срочная работа.

Мы уже завели моторы и готовы были тронуться с места, как вдруг в широком окне цеха увидели рыжую голову и грустную, милую улыбку нашего Витьки.

Он махал нам за окном руками и что-то говорил, а мы не слышали, и он не расслышал того, что мы сказали ему.

А мы сказали:

— Что бы пожелать тебе на прощанье, Витька? Стать главным конструктором? Это можно. Но так ли уж это важно? Пожелаем мы тебе лучше сохранить на всю жизнь твою славную добрую улыбку, и доверчивость, и откровенность. С ними так хорошо жить.

НА БЕРЕГУ КАМЫ

Маленький суетливый катер с полуголым загорелым мотористом тащил за собой бревенчатый паром. Кама была розовая от заката. Справа — тихие леса и задумчивые рыболовы на берегу. Слева — все вздыблено: груды земли, башни, мачты, провода, и

даже в воде и в воздухе какое-то неуловимое напряжение и беспокойство.

Там строится Воткинская ГЭС.

На этом берегу — Удмуртия. На том — Урал.

На этом берегу — половина восьмого вечера. На том — половина седьмого.

Тучный здоровяк в соломенной шляпе стоит у деревянных перил парома. В руках у него портфель, а шея коричневая от загара. От него пахнет крепким табаком и сосновым бором.

— Вон там будет шлюз, а там электростанция, — показывает он. — А вон ту гору видите, где сосна? Скоро от той горы одна макушка останется. Все затопит.

Он рассказывает о себе:

— Работаю я здесь бухгалтером. Сюда с Камской ГЭС перевелся. А раньше на Каховке работал. Так и кочую вместе с семьей. Я уже иначе и жизни себе не представляю: как это жить в городе, который построен сто или двести лет назад? Приедешь, наверно, как в музей: вот это Петр Первый построил, а это — Екатерина Вторая... А мы как? Приезжаем — лес, камни, палатки. А через два года глядишь — город как город. Вот и ходишь гоголем, сам себя уважаешь.

Позже мы видели, как «ходят гоголем».

«Гоголем» ходят степенно и чинно, поблескивая клипсами и щеголяя галстуками, с полным сознанием своего достоинства и значения. Так шли из кинотеатра молодые строители. Они шли по главной улице своего маленького нового городка, мимо грибного леса и универмага, мимо трехэтажных красивых домов и пней на полянке.

С главной улицы сворачивали на неглавные, а неглавные улицы еще с трудом угадывались: на одной было гри дома, на другой только два. Земля здесь разрыта, канавы, лужи. Через канавы кое-где перекинуты доски, а в лужах дорожками уложены кирпичи. Девушки в туфельках с очень тонкими, самыми модными каблучками, пробираясь через лужи, балансировали, как танцовщицы на проволоке.

— Где тут, девушки, молодежное общежитие?
— Да вот оно, здесь, на Приморском бульваре.
— Почему это бульвар? И почему Приморский?
— А как же! Построим плотину — вода в Каме поднимется, как раз здесь будет берег. А вдоль берега посадим акации, сирень, черемуху.

— А как живете, девушки? Не скучаете?

— Ничего живем. Вот только артисты редко приезжают. Все лекции и лекции. Мы уж от этих лекций скоро совсем как академики станем.

Ночуем в молодежном общежитии. Это трехэтажный дом с балконами. Здесь горячая вода. Душ. Стучим в одну комнату, в другую, в третью — двери везде не заперты, а хозяев нет — гуляют.

Выходим на балкон. На всех балконах — огоньки папирос. Гремит радиола. Перед домом танцуют. Танцуют, будто работают, молчаливо, старательно, без торопливости и дурачеств. Когда радиола смолкает, парни уверенно стоят возле своих девушек, придерживая их за локти и терпеливо ожидая, пока сменят пластинку.

Рано утром нам надо было ехать дальше. Заехали на строительную площадку. Там все было грандиозно: грандиозный котлован у наших ног, грандиозная эстакада над нами, грандиозные бетонные стены поднимались из глубины.

Остановили мотоциклы на краю котлована, возле громадных башен подъемного крана. Башни плавно передвигались по рельсам. На большой высоте был натянут едва заметный трос. Под ним свисал такой исполинский крюк, что казалось, им можно подцепить земной шар. На крюке покачивалась железная конструкция величиной с четырехэтажный дом. Она покачивалась легко, как спичечный коробок, и медленно проплывала над стройкой.

А внизу лязгали могучими челюстями экскаваторы, грызли землю бульдозеры, подъемные краны величественно и властно поворачивали свои размашистые стрелы, бесконечной вереницей ползли и ползли громадные грузовики-самосвалы.

И всем этим управлял спокойный женский голос.

Он казался негромким, но слышали его и в котловане, и на стенах ГЭС, и на эстакаде.

— Прораб Ипатьев! Экскаватор номер семь не работает. Транспорт стоит. Примите меры. — Короткая пауза, заполненная ревом автомашин, потрескиванием электросварки, гудками паровозов, и снова над всей громадной стройкой спокойный и деловитый голос: — Внимание! Машинисты насосной станции, почему нет воды на эстакаде? Включите насос.

Мы поискали глазами репродукторы. Их не было видно. Голос, казалось, доносился к нам откуда-то из-за облаков. Если бы мы верили в бога, то подумали: вот он, господь бог. Все видит, все знает и говорит с неба.

Мы сидели на мотоциклах и тарасили глаза.

— А ну, посторонись! — весело и снисходительно сказала нам розовощекая толстушка с блестящими сережками в ушах. Она сидела за рулем грузовика, который пытался протиснуться между нашими мотоциклами и краем котлована. — Посторонитесь, мальчики, — сказала толстушка и, притормозив машину, спросила: — Мимо столовой ехали? Не видели — есть там сегодня пирожки?

Столовой мы не заметили и не знали, есть ли там пирожки. Когда грузовик проехал, младший из нас сказал:

— Что-то неудобно так вот стоять и пялить глаза. Все работают, а мы одни удивляемся.

А старший ответил:

— Такая уж служба у нас — удивляться. А вот эта девушка привыкла к масштабам стройки, ко всей этой технике, и, наверное, кажется ей, что ничего особенного не происходит.

С ужасным звоном и грохотом к нам приблизился громадный трактор. Он тянул за собой железную треногу. Из кабины высунулся большеротый чубатый парень и без всякой веселости и снисходительности заорал:

— Чего дорогу загородили? А ну, сматывайтесь!

И страшная железная гусеница нависла над маленькой «макакой» нашего друга.

Мы завели моторы и рванулись вперед. Вслед нам, покрывая звон и грохот трактора, опять откуда-то из-за облаков раздался спокойный голос диспетчера:

— Внимание! Машинисты насосной станции, воды на эстакаде все еще нет. Примите меры.

Мы уехали. А этот голос нам очень запомнился. Он все звучал и звучал над нами. И на следующий день, и через неделю, и через месяц. Мы слышали его повсюду — в Сибири, на Алтае, в Средней Азии. Иногда он был громче, иногда чуть слышен. Но слышен всегда — и в больших городах, и на дорогах, и в самых маленьких деревушках.

ТОЛЬКО ЛЮДИ...

Когда на дорогах нет машин, там хозяйничают вороны. Они важно расхаживают по проезжей части, деловитые и озабоченные. Они смотрят на мотоцикл с негодованием и не торопятся уступить дорогу. Потом нехотя взлетают, чтобы сразу же за нами опуститься снова. И снова что-то ищут, о чем-то каркают, и ссорятся, и мирятся, важные и сердитые.

А в траве возле дороги хозяйничают муравьи. Там спешат они по своим делам, одни налегке, другие с грузом, и взбираются по нашим ногам, как на горы или на деревья, без любопытства и с пренебрежением.

А в лесу хозяйничают комары. Они бросаются на нас мужественно и яростно, с воинственным и грозным жужжанием. И жалят нас и гонят вон из своего леса.

Бедные мы. Никто нас не ждет. Никто нам не рад. Только люди.

ИСКОПАЕМОЕ ЧУДОВИЩЕ

В деревне Елово видели ископаемое чудовище. Оно не было покрыто шерстью. У него из пасти не торчали желтые клыки. Но все же это было ископаемое чудовище.

Чудовище было мужиком лет тридцати, громадного роста. Руки у него как у гориллы и лоб как у гориллы — маленький, морщинистый. А морда небритая, тупая и злобная.

Мужик был пьян. Он шатался возле магазина, матерился во всю глотку и тяжелыми сапожищами разбрызгивал грязь. Он был такой большой, что казалось, будто не он покачивался, а земля под ним покачивалась.

Возле магазина стояли люди. Были здесь две школьницы. Он подошел к ним и уставился на них бараньими глазами и матерился. И каждое его хриплое слово было как плевок. Но девочки не испугались, не удивились, только отошли в сторону.

Тогда он подошел к трем женщинам. Они держали в руках буханки хлеба. Одна женщина что-то рассказывала, другие смеялись. А он подошел к ним, пошатнулся и сгреб их, как охапку сена, своими волосатыми немытыми ручищами. Но женщины тоже не испугались, не удивились. Они только оттолкнули его и сказали:

— Шел бы ты, Петька, домой. Каждый день пьяный.

Тогда он подошел к парню. Парень нес из магазина радиоприемник. Парень был тоже большой и сильный. У него было хорошее лицо и умные глаза. Может быть, он был учителем в школе. Может быть, он читал много книг. Может быть, он рассказывал детям о космических кораблях. Может быть, он знал наизусть стихи. Но он тоже не удивился, не схватил чудовище за руки, не запер его в сарай. Он только засмеялся и сказал:

— Ну и назюзюкался ты сегодня! Шел бы, действительно выпался.

Над деревней, на невообразимой высоте, летел самолет. Он на секунду сверкнул в синеве и оставил за собой белую линию.

На дороге остановилась легковая машина, красивая и стремительная, которая может нестись по земле со скоростью 120 километров в час.

По радио передавали музыку. Кто-то играл

в Москве на скрипке проникновенно и нежно. И слышна была эта скрипка во всех городах и во всех деревнях.

А на деревенской площади, возле сельского магазина, шаталось ископаемое чудовище, тупое и страшное.

Как же это?!

ВОТ ЭТО АВАРИЯ!

Километров в десяти от Перми увидели на обочине дороги двоих: парня и девушку. А между ними мотоцикл — новенькая «Ява», сверкающая и франтоватая.

Парень протягивал к нам обе руки:

— Ребята, пропадаю, помогите!

Вокруг мотоцикла валялись инструменты и тряпки. Парень был тоже франтоватый — в белых отглаженных брюках и морской фуражке. Совсем еще молодой — и усы-то у него были какие-то несерьезные. А девушка — в простеньком платье и в руках держала красную кофточку. Она была стройная и красивая.

Она поглядывала то на парня, то на Алексея Ковалева, который уже возился с мотоциклом. Она поглядывала на них по-разному. Алексей замечал это и не торопился закончить дело. Он сидел на корточках, сухой, длиннорукий и длинноногий, в грязной, обтрепанной куртке. А парень стоял рядом с ним, как школьник перед директором.

— Может, заведется, а? — спрашивал он. — Может, заведется?

Алексей Ковалев молчал. Девушка тоже молчала. Она больше не смотрела на парня. И на Алексея тоже не смотрела.

— Может, ключ подать? — спрашивал парень. — Заведется, а?

— Не заведется, — сказал Алексей Ковалев и стал вытирать руки ветошью.

У парня потускнели глаза.

— Эх ты, тюха! — сказала девушка. — А еще форсил!

Она бросила на плечо красную кофточку и мягкой походкой пошла в сторону города.

— Вот это авария! — сказал Алексей Ковалев.

ЕЩЕ ОДНО ПРИЗНАНИЕ МЛАДШЕГО

Это было так неожиданно и так неправдоподобно. Я не хотел ехать в Пермь. Я уговаривал моих друзей ехать прямо на Свердловск — так короче. Но старший обязательно хотел повидать в Перми своего друга, которого не видел пятнадцать лет. Он встречался с ним во время войны и на всю жизнь сохранил уважение к его большой и дружной семье, в которой росли шесть дочерей.

Но когда мы приехали в Пермь и пришли в эту семью, то оказалось, что ни одной дочери нет дома.

Мы сидели за столом очень усталые. Хотелось спать. Мне было скучно, и я все намекал старшему, что пора бы уже идти в гостиницу, отдыхать. А он все продолжал и продолжал предаваться воспоминаниям.

И вдруг вошла девушка. Что я могу сказать о ней? Она маленькая и стройная. У нее пушистые каштановые волосы и синяя ленточка на голове. А глаза такие же синие, как эта ленточка.

Она поздоровалась и всем улыбнулась доброй, доверчивой и милой улыбкой. И села на диван.

А потом мы сидели рядом и ели картошку с огурцами и говорили. Мы говорили о разном: о школе, о Ленинграде, о нашей поездке, о том, как однажды она заблудилась в лесу, о том, как я в детстве пас коров...

Всю жизнь она жила в Перми вместе с мамой, папой и сестрами. Она была самая младшая. И все баловали ее. Когда ей было три года, старшие сестры уже заканчивали школу и учились в институте. Они играли с ней, как с куклой, расчесывали ей волосы, шили для нее платья. И в школе все ее баловали — она была самой маленькой и самой хорошенькой.

И когда она выросла, стала работать медицинской сестрой в железнодорожной поликлинике, там тоже все ее баловали — и врачи и больные. Для всех она была как младшая сестренка.

А у меня никогда не было младшей сестренки.

У меня были товарищи в детдоме, ремесленном училище и техникуме — грубоватые товарищи, с которыми я дрался и которых любил. Но у меня никогда не было младшей сестренки, такой нежной и доверчивой, которой так нужны были бы моя сила, мужество и уверенность.

Она пошла провожать нас, а потом я пошел провожать ее. Она даже не надела туфель, а так и пошла в домашних тапочках, которые называют «ни шагу назад». И платье на ней было домашнее, простенькое, ненарядное.

Мы сидели на скамейке в городском сквере около театра. Зелень листвы была освещена фонарями. Мимо проходили мальчишки и посмеивались, а я думал: «Глупые вы, глупые. Ну что вы понимаете, мальчишки?»

А на следующее утро она пришла к нам в гостиницу. Мы сговорились, что она покажет нам город, и Камскую ГЭС, и Камское море.

С утра шел дождь, и весь день были дождь и ветер. А она пришла в легком платье, совсем легком и нарядном, маленькая, счастливая и веселая. И когда она смеялась, смеялись мы все.

Мы ходили по дождливому городу, прыгали через лужи, плыли на пароходе по Каме. Старший звал нас вниз, в каюту, а мы стояли на открытой палубе, под дождем и ветром. И это было хорошо, что дождь и ветер, потому что я отдал ей свою непромокаемую куртку, а сам был горд тем, что моей маленькой сестренке тепло и сухо и что ни с кем нет такой девушки, как со мной.

А потом мы вышли на берег в новом поселке и шли по бетонной плотине, вдоль электростанций — величественной и мощной. Слева было Камское море, там катились черные волны и метался ветер, и до нас долетали холодные брызги. А мы стояли у самой

воды, и нам было весело, и мне хотелось сделать что-нибудь отчаянное.

А потом я проводил ее домой и вернулся в гостиницу мокрый, голодный и счастливый.

Ночью я спросил у старшего:

— Как узнать, когда любовь настоящая, а когда ненастоящая?

Мы долго это обсуждали и пришли к такому решению:

— Если ты думаешь, хорошо ли тебе будет с ней, — это любовь не настоящая. Если ты думаешь, хорошо ли ей будет с тобой, — это любовь настоящая.

И тогда я спросил:

— Разве можно за один день узнать друг друга?

И это мы долго обсуждали и решили так:

— Нельзя. И за месяц нельзя. И за год тоже. А случается, что можно узнать за секунду.

Я спросил:

— А может это быть ошибкой?

Об этом мы тоже долго говорили и решили, что, конечно, может быть ошибка.

— Так что же мне делать со своей любовью? — спросил я.

И мы решили: довериться ей. Доверие нас еще никогда не подводило.

Мы доверяли себе и доверяли людям. Мы доверяли лесу и ночи. Мы никогда не возили с собой оружия. Ни в карманах, ни на поясе, ни за плечами. Мы путешествовали в мире, которого не надо опасаться, в мире доброжелательном и доверчивом.

На следующий день рано утром мы уезжали из Перми, от младшей сестренки. Она пришла проводить и стояла под дождем, маленькая, испуганная и счастливая, с блестящими слезинками на глазах. Мои оба товарища засунули головы между коляской и мотоциклом, то ли исправляя там что-то, то ли желая оставить нас вдвоем.

— Не плачь, — сказал я, — ведь теперь мы расстаемся совсем ненадолго. Теперь с каждым днем я буду все ближе и ближе к тебе.

ТАК ВЕДУТ СЕБЯ ВЛЮБЛЕННЫЕ МОТОЦИКЛИСТЫ

Дождь. С каждой ветки и с каждого листика грустно стекают и падают на разбухшую землю серые дождевые капли. Березы стоят у дороги, как лошади под дождем, закрыв глаза и опустив голову. А когда дунет ветер, они вздрагивают зыбкой дрожью.

Холодно. Дождь сечет по ветровому стеклу. Из-под колес, как воробьи, вылетают комья грязи. Дождевые капли пронзают, как пули. За мгlistой пеленой не разглядеть встречных машин.

— Ну и погодка! — говорит старший, пригнувшись в коляске.

А на лице младшего счастливая улыбка.

— Что? Плохая погода?

И, глядя не на дорогу, а куда-то поверх леса, он вгоняет мотоцикл в глубокую лужу.

Грязные волны захлестывают коляску. Старший протирает глаза и выплевывает грязь. А младший глядит на него удивленно и все с той же блаженной улыбкой въезжает в новую лужу.

А иногда младший оборачивается назад. Он даже снимает одну руку с руля, чтобы получше разглядеть что-то там, оставшееся позади. Он оборачивается так часто, что мотоцикл выписывает на дороге зигзаги и норовит налететь на встречную машину. Но когда старший кричит ему:

— Куда ты? Смотри!

Младший отвечает мечтательно и тихо:

— Она обещала мне написать в Омск.

КУНГУР

1

Маленький уральский городок Кунгур. Вечер. Мы в гостинице. За окнами дождь. В комнате восемь кроватей. На трех спят командированные. На наших кроватях и на полу возле них — мокрые куртки и брюки, мокрые рубашки, мокрые ботинки, мокрые рюкзаки.

Мы сидим за столом в одних трусах, едим мокрый хлеб и мокрую колбасу и запиваем теплой водой из графина.

Старший рассказывает:

— Во время войны служил в моем взводе ефрейтор Костя Птухин. Я уже не помню, как он у нас появился, только помню, что когда увидел его в первый раз, то обратил внимание на его веселый, вызывающе вздернутый нос. Да еще на пару новых хромовых сапог, перекинутых через плечо. Сапоги были начищены до такого ослепительного блеска, что, будь мы в то время поближе к переднему краю, на них, без сомнения, обратили бы внимание фашистские снайперы.

— Разрешите спросить, товарищ младший лейтенант, — сказал Костя Птухин. — Куда бы сапоги спрятать, понадежнее, чтобы, не дай бог, не пропали?

— На ноги, — говорю, — самое надежное место.

— На одну пару ног двух пар сапог не натянешь!

— А ты их вместо кирзовых надень.

А он говорит:

— Смеетесь! Кунгурские сапоги каждый день трепать? Вы таких сапог в жизни не видели. Такие сапоги только мы в Кунгуре можем сшить. Вы кожу пощупайте — шелк! А как задник пристрочен! А модель! Видели вы когда-нибудь такую модель? Таких сапожников, как в Кунгуре, нигде не сыщете. В Кунгуре бывали?

— Нет, не бывал.

— Жаль, — говорит, — другого такого города во всем мире нет. В наших сапогах хоть сто верст пройди — не устанешь. А побежишь, так никто не догонит. Станцуешь — любая девушка полюбит. Вот какие мы шьем сапоги! А про пещеру нашу, наверное, слышали. Самая большая в Советском Союзе. Иностранцы приезжали, хотели выход найти. Где там! А наши камнерезы! Из камня могут блоху вырезать! И прыгать будет. Не верите?

— На язык, — говорю, — ты бойкий. А вот как воевать будешь?

Он смеется:

— А что воевать? Подумаешь! Мы, кунгуряки, ко всякому делу талант имеем. И лапти плетем и корзины. И сани делаем и замки. Жаль только, мало нас. А было бы кунгуряков тысяч сто, так мы бы войну еще в прошлом году закончили и сейчас чай в Берлине пили бы.

Со своими кунгурскими сапогами он так никогда и не расставался. На ногах носил казенные, кирзовые, а в вещевом мешке таскал свои, кунгурские. И всюду брал их с собой. Даже однажды в разведку с ними ходил.

— Да как же я их в тылу оставляю? — говорил он. — А вдруг их без меня разбомбят? Как же я тогда после войны в Кунгуре появлюсь? В этих опорках, что ли?

Чудный был парень, весельчак. Глянешь на его отчаянный нос, и сразу на душе станет легче, а посмотришь на его вещевой мешок, увидишь, что выпирают каблуки, и верится, что вернешься после войны домой, что наступит такое неправдоподобное время, такой золотой век, который зовется «после войны».

Только не наступил этот золотой век для веселого кунгурского сапожника Кости Птухина. Не надел он своих новых сапог, не вернулся в родной Кунгур. И осталось только воспоминание о нем, может, у меня одного, а может, еще у двух или трех человек на всем земном шаре. Время стерло с этого воспоминания горечь, и осталось воспоминание веселое и светлое — единственная награда за прожитую жизнь.

— Награда? — спросил младший.

— Награда. Славная награда. Я бы тоже хотел после смерти получить такую награду.

2

В Кунгурском горкоме партии мы спросили о кунгурских сапожниках.

— Это верно, — сказали нам, — раньше Кунгур

славился сапогами, а сейчас он славится турбобурами. И эта слава погромче. Наши турбобуры известны всем нефтяникам. И не только в нашей стране. И в Индии, и в Китае, и в Египте. Обязательно побывайте у нас на машиностроительном заводе.

Завод небольшой. Между станками бродят голуби. В кадках — цветы. Кроме турбобуров, здесь делают установки для разведочного бурения. Это маленькие буровые вышки. Вместе с моторами и лебедками они смонтированы на автомобильных платформах и похожи на красивые пожарные машины.

Завод быстро растет. Только что построен специальный цех, где металл обрабатывается токами высокой частоты. Строится литейный цех. Создается автоматическая линия обработки и сборки турбинок.

Вспоминаем слова кунгурского сапожника Кости Птухина: «Мы, кунгуряки, все можем. Ко всякому делу талант имеем. И лапти плетём и корзины. И сани делаем и замки».

3

Мы в художественной камнерезной школе. На стеллажах маленькие каменные фигурки. Некоторые из них очень хороши: вытянутая в струнку хитрая и хищная лисица, веселый и беззаботный Буратино, важная и кокетливая парочка: курица и петух. Сколько оттенков в камне! Золотистый селенит светится изнутри нежным и теплым светом. Белый и серый ангидрит напоминает о диких скалах. А в черном серпентине есть что-то строгое и скорбное.

У каждого кусочка камня свой характер. Один — веселый, другой — задумчивый, третий — патетичен. Почувствуй этот характер, разбуди камень, прочитай его, помоги ему заговорить, и получится маленькая чудесная фигурка, которую захочется увезти с собой и поставить в своей комнате на столе.

— Нет, этих фигурок вы нигде не купите, — говорят нам. — Это учебные композиции. Купить можно вон те, их мы делаем по заказу торгующих организаций.

И нас подводят к строю мишек. Две сотни одинаковых мишек сидят в одинаковых позах с одинаково невыразительными мордами, безрадостные, как бутылки.

Только один мишка в третьем ряду чем-то отличается от других. То ли тем, что на его морде лукавая улыбка, то ли тем, что лапы его сложены с какой-то игривостью.

— Это брак, — говорят нам. — Видите, не стандартный. Его не примут.

— Что же вы будете с ним делать?

— Может быть, пойдет третьим сортом, а может быть, переделаем в зайца.

Бедный нестандартный мишка!

4

Утром побывали в знаменитой Кунгурской пещере. Это большой подземный лабиринт. Гроты. Озера. Галереи. Здесь всегда сыро и темно. Тяжелые каменные своды в шрамах и трещинах. Белыми громадными сосульками свисают сталактиты. Иногда идем пригнувшись. Иногда протискиваемся в расщелины. Тускло светят электрические лампочки. Фантастические очертания лобастых камней и угесов подсвечены желтым, красным, зеленым светом. Кажется, что где-то пылает невидимый огонь и какой-то чародей варит колдовское снадобье. А на плечи давит многотонная тяжесть горы.

Исследована пещера не вся, только на протяжении пяти километров.

Мы так много слышали о красоте Кунгурской пещеры, что ожидали увидеть совершенно фантастическое подземелье. Но какое подземелье может показаться фантастическим современному человеку, который бывал в подземных залах метро и видел сказочные подземелья в кинофильмах.

Больше всего нас увлекли рассказы о людях, которые связали свою жизнь с этой пещерой.

Жил в Кунгуре знаток Урала путешественник Александр Тимофеевич Хлебников. Объездив почти весь свет, он в 1914 году вернулся на родину и занялся изучением Кунгурской пещеры.

Тридцать семь лет, изо дня в день, зимой и летом, он брал с собой факел и мешок с кусочками бумаги и, червяком проползая сквозь щели, расчищал проходы и открывал новые подземные гроты и озера.

Факелом он освещал себе путь, а кусочки бумаги разбрасывал за собой, чтобы найти дорогу обратно.

Александр Тимофеевич Хлебников дожил до семидесяти пяти лет. В последние годы своей жизни он ослеп. Но и слепой продолжал водить в пещеру любителей — ведь он знал на ощупь каждую щель и каждый выступ.

В 1934 году горный инженер Переслечин организовал экспедицию, чтобы проникнуть в ту часть пещеры, где не бывал даже Хлебников. Это была опасная экспедиция. Нередко камни заваливали проходы, по которым пробирались исследователи. Люди оказывались запертыми в подземелье. Но они разбирали завалы и продолжали поиски новых гротов. Один из открытых гротов был назван в их честь гротом Смелых. Когда экспедиция была закончена, смельчаки собрались в этом гроте и при свете факелов устроили там банкет.

Все это нам рассказал старший экскурсовод Сергей Петрович Богомяков. Мы стояли с ним в гроте Данте. Над нами нависали камни. Капала вода. Как театральные декорации, из полумрака выступали красные, зеленые, желтые грани скал. Искрился иней.

Сергей Петрович сидел на камне. Он большого роста, в резиновых сапогах, в теплой фуфайке, поверх которой надета брезентовая куртка с капюшоном. Ему шестьдесят лет. Еще десятилетним мальчиком тайком от родителей он пробирался в эту пещеру и ползал там с замирающим от страха и радости сердцем. Тогда он еще не знал, что принадлежит к тому славному племени людей, которых всю жизнь влекут к себе тайны природы и те трудности и опасности,

которые иногда требуется преодолеть, чтобы эти тайны познать.

Прошли годы. Мальчик стал мужчиной. Он получил высшее юридическое образование, много ездил, воевал, но как только выдавалась возможность, возвращался в Кунгур, надевал болотные сапоги и непромокаемый плащ и с сердцем, замирающим так же, как в детстве, отправлялся в подземный лабиринт, к вечно влекущей его суровой красоте подземных залов и переходов.

Есть люди, влюбленные в море. Есть люди, влюбленные в небо. Есть люди, влюбленные в лес. Сергей Петрович Богомяков влюблен в Кунгурский подземный лабиринт. С этой любовью он прожил всю жизнь и, когда кончилась война, сменил работу военного юриста на должность экскурсовода Кунгурской пещеры.

Три-четыре раза в день, пересчитав экскурсантов, Сергей Петрович уводит их в глубь лабиринта. А когда нет экскурсантов, он отправляется туда вместе со своими товарищами по работе. Товарищи его — старик Виктор Михайлович Хлебников (племянник Александра Тимофеевича) и электрик Николай Константинович Шангин. Три пожилых человека ползут по щелям, разгребают завалы, натягивают электропровода. На маленькой резиновой лодочке они переплывают подземное озеро. Иногда им приходится ложиться на дно лодки плашмя, так низко нависают своды. Но они пробиваются все вперед и вперед, туда, где никогда не ступала нога человека.

НАШИ ПРИВАЛЫ

Когда долго едешь с большой скоростью и мимо все мчатся и мчатся леса, деревни, поля, иногда становится грустно. Жаль рощу, которую мы никогда больше не увидим, мостика, который пропел под нами свою короткую песенку, пастуха с книжкой, которого мы не успели ни о чем расспросить.

Тогда хочется хоть на минуту остановиться.

И мы останавливались. Послушать тишину, разглядеть дерево, ощутить надежную неподвижность земли и хоть на мгновение задержать все то, что невозвратно мчится и мчится назад.

Это были совсем короткие остановки. Мы даже не слезали с мотоцикла. Алексей Ковалев тоже не слезал со своей «макаки», он только широко расставлял ноги и, подняв очки-консервы на широкий лоб, в сотый раз напоминал нам о вреде курения.

Но мы все-таки закуривали, и табачный дым казался небывало приятным. Мы оглядывались в неподвижном мире и дивились тому, что так широка дорога, так высоко небо, так глубоки леса и так нежен теплый ветер.

Но еще не успевал остыть двигатель, как Алексей Ковалев уже смотрел на часы.

— Мы отдыхаем три минуты двадцать восемь секунд, — говорил он, — поехали?

И снова ветер рвал флажок над рулем, к дороге сбегались леса, опускалось небо, и все опять мчалось и мчалось назад.

Иные остановки мы называли техническими. Они назревали постепенно в скрипах подшипников, в стуках подвесок, в масляных подтеках на вилках. Тогда мы съезжали на обочину и доставали инструменты. Младший из нас и Алексей Ковалев смазывали подшипники, разбирали вилку или отчаянно трясли колясочное колесо, чтобы предугадать: отлетит оно до ближайшего города или не отлетит? А старший в это время перекладывал багаж. Он все время перекладывал багаж с места на место и каждый раз говорил, что теперь уложено как надо. А на следующей остановке опять перекладывал все заново.

Один раз в день мы устраивали большой привал. Выбирали для него место где-нибудь в лесу, возле ручья и, свернув с дороги, ехали по узкой тропе до той поляны, откуда не видно ни шоссе, ни автомобилей, ни телеграфных столбов.

Там мы стелили на траве плащ-палатку, выгружали из коляски хлеб и консервы, забрасывали на дерево антенну и включали радиоприемник. Синенькими

язычками пламени вспыхивали маленькие таблетки сухого спирта. По-домашнему разговаривал наш болтливый чайничек. Мы ложились на траву вокруг плащ-палатки, и дорожные ножи скрещивались над консервной банкой.

Хотя от хлеба всегда чуть пахло бензином, а бычки в томате мы ели изо дня в день, но нам казалось, что это самая вкусная пища на свете, и, пожалуй, никогда мы не чувствовали такого довольства жизнью, такой дружбы и любви друг к другу, как во время этих обедов, среди деревьев, под пение птиц и негромкую музыку радио.

А потом — долгие разговоры. О чем только мы не говорили во время привалов!

Но на привалах мы не только разговаривали. Мы еще и молчали. И берегли это молчание. И любили друг друга за уважение к нему.

Молчание обогащало нас, учило и помогало восстанавливать силы души.

Старший обычно сидел на маленькой раскладной скамеечке и попыхивал своей пузатой трубкой. Морщины на его лице становились еще глубже, они напоминали овраги, ущелья и пропасти. Мохнатые черные брови тяжелели, и он смотрел в одну точку, будто собирал вокруг нее все, что было в его памяти.

А младший лежал под какой-нибудь встрепанной березкой. Он разглядывал макушки деревьев, а может быть, облака или птиц. Разглядывал с радостным удивлением, и его черная всклокоченная бородка шевелилась, будто он читал про себя стихи. Борода у него была небольшая, но зато как у Фиделя Кастро. Он начал ее отпускать, когда мы выехали из Ленинграда. И не потому что ленился бриться или хотел выглядеть старше. А только из приверженности к традициям — какой же путешественник без бороды?

Алексей Ковалев чаще всего усаживался на пенечке. Он не умел ни отдыхать, ни размышлять праздно. Поэтому всегда на его острых коленях (они торчали под брюками, как кулаки) лежали нож, напильник и плоскогубцы, которыми он пытался обыкновенный

карандаш превратить в автоматическую ручку или из автоматической ручки сделать обыкновенный карандаш.

Мы долго сидели, нежась молчанием, и всегда вздрагивали от неожиданности, когда Алексей Ковалев объявлял громко и бесцеремонно:

— Мы отдыхаем уже час тридцать шесть минут и три секунды. На шесть минут и три секунды дольше чем надо. Поехали! — и, не ожидая нашего согласия, прятал в широкий карман дорожной куртки нож, напильник, плоскогубцы и обыкновенный карандаш, удачно превращенный в автоматическую ручку, или автоматическую ручку, удачно превращенную в обыкновенный карандаш.

И мы снова садились на мотоцикл и по узкой тропе выезжали к шоссе. И снова ветер рвал флажок над рулем, и к обочинам сбегались леса, ниже опускалось небо, и все опять ускользало и ускользало от нас и невозвратно оставалось позади.

МЫ ЗАГЛЯДЫВАЕМ В БУДУЩЕЕ

В Свердловске нас спросили:

— Хотите заглянуть в будущее?

Да, нам очень хотелось заглянуть в будущее.

— Тогда обязательно поезжайте на строительство Белоярской атомной электростанции.

Мы часто думали о будущем, часто говорили о нем. А у младшего из нас из-за будущего бывали даже неприятности в прошлом, когда он еще учился в ремесленном училище.

Был в том училище комендант, который сам думать не любил и терпеть не мог, если думали другие.

— Что, брат? — спрашивал он, увидев задумавшегося парня, — думаешь?

— Думаю, — отвечал парень.

— Интересно, о чем же ты думаешь? Государство тебя поит и кормит, профессия у тебя самая наилучшая, о чем же тут еще думать? Пусть думают

те, кто на капиталистов работает, а за нас с тобой Маркс и Энгельс обо всем подумали, и нам теперь надо не раздумывать, а, засучив рукава, строить свое светлое будущее.

— Вот как раз я о нем и думаю, — говорил парень, — какое оно будет, наше будущее?

— Чего же тут думать? — дивился комендант. — Наше будущее — это от каждого — по способностям и каждому — по потребностям. Кто же этого не знает?

— Это и я знаю, — говорил парень, — а только представить себе конкретно никак не могу.

— А чего же тут представлять? Вот сейчас ты пришел с работы, устал, а тебе еще в вечернюю школку бежать. Разве это жизнь? А тогда хоть весь день лежи себе на койке, если есть у тебя к этому способности, и удовлетворяй свои потребности. А все остальное за тебя будут делать машины. О чем же тут еще думать?

И, весьма удовлетворенный своими объяснениями, комендант величественно уходил, а парень представлял себе, как он будет весь день лежать на койке, удовлетворяя свои потребности и проявляя свои способности. И ему становилось так противно, что он даже сплевывал:

— Фу, мерзость какая! А ну его к черту такое прекрасное будущее!

И вот мы сидим на обочине дороги, в нескольких километрах от будущего, сидим и фантазируем.

«Явится этот комендант в будущее, — фантазирует младший, — и начнет хапать себе всего побольше. «Зачем вам одному ящик шоколада и двадцать четыре костюма?» — спросят у него люди будущего. «Такие уж у меня потребности, — скажет комендант, — ничего с собой не могу поделаться. Если хотите знать, так даже в переходный период я съедал в день не меньше трех плиток шоколада, а что касается костюмов, так не было у нас в Ленинграде такого человека, у которого не висело бы в шкафу шести-семи костюмов». — «Это вы, наверно, врете, — скажут ему люди будущего. — Интересно, что вы

чувствуете, когда врете? Неужели это совсем не больно?»

«А потом, — фантазирует младший, — стану у него спрашивать, какие у него есть способности или склонности. «Помилуйте, — скажет он, — какие же у меня способности? Решительно никаких! А склонности действительно есть. Например, склонность к пиву». — «Это дурная склонность», — скажут ему. «Ну, тогда у меня есть склонность управлять. Кем-нибудь управлять, хотя бы мальчишками в ремесленном училище». — «Это опасная склонность, — скажут ему, — давайте лучше просветим вас психологическими лучами и выясним, нет ли у вас какой-нибудь хорошей склонности».

— Нет, — сказал старший, — как-то не так ты фантазируешь. Дай-ка я буду фантазировать.

И стал он фантазировать так:

«Самым лучшим в жизни я считаю молодость, и в будущем люди, наверное, научатся сохранять молодость до глубокой старости. Явемся мы в будущее и увидим на спортивной площадке много молодежи. А один парень, с виду лет восемнадцати, подбежит к нам и скажет: «Давайте, ребята, сюда! У нас одного игрока не хватает. Вон мой сынок уходит. Ему поработать захотелось», — и укажет на другого парня, с виду тоже лет восемнадцати. «Как так? — спросим мы, — у тебя уже есть сын и такой взрослый?» — «А что же, это дело не трудное. У меня есть не только сын, но еще и две дочери, постарше его». — «Ну и поспешил ты, парень!» — «Нисколько не поспешил. Я уже тридцать лет как женат». — «А тебе сколько?» — «Да я еще молодой, шестидесяти нет. Вон моя прабабка бежит, так она действительно старенькая, а смотрите, как еще ловко бегаёт!»

— Нет, — сказал Алексей Ковалев, — и вы как-то не так фантазируете. Давайте буду фантазировать я.

И стал он фантазировать так:

«Явемся мы в будущее, а там волнения, страсти накалены, в газетах тревожные заголовки, по радио призывы к победе. Что такое? Что случилось?.. А нам

говорят: «Война!» — «Как так война? И у вас война?..» — «Так у нас совсем другая война. У нас вместо снарядов книги, статьи и речи. Завтра генеральное сражение. Оно будет происходить во всех клубах, во всех библиотеках, на всех газетных страницах». — «За что же у вас война?» А нам скажут: «Одна армия считает, что самая большая опасность для человечества — это удовлетворенность жизнью. А другая армия считает, что всякая неудовлетворенность мешает наслаждаться счастьем».

— Нет, что-то все мы не так фантазируем, — сказал один из нас. — Легкомысленно мы фантазируем и безответственно.

— Что ж поделать, — сказал другой, — ведь воображение — это самая безответственная штука на свете. Хочешь воображать так, а воображаешь совсем иначе. А что касается будущего, то оно, наверное, окажется совсем не таким, как мы его себе представляем, потому что человек хотя и может предусмотреть почти все, но всего он предусмотреть не может. И это очень хорошо. Если бы было иначе, то жизнь стала бы очень скучной — ни открытий, ни творчества, ни вдохновения...

В это время начал накрапывать дождь. А всякий спор, подобно костру, под дождем гаснет. Мы сели на мотоциклы и поехали дальше.

К будущему вело отличное шоссе. Лес становился все гуще. Мир вокруг нас погружался в тишину, будто мы удалялись от всего, что нам знакомо и привычно, и казалось, что вот-вот сейчас откроется что-то невиданное и небывалое, похожее на иллюстрации к романам Уэллса или Ефремова.

Но вместо гигантских зданий из стекла, пластмассы и бетона, вместо устремленных к небу космических ракет, фантастических конструкций и могучих роботов мы увидели обыкновенную лесную поляну и на ней — маленький розовый городок.

Городок был красивый и тихий. Казалось, что его спустили сюда на вертолете, прямо на мхи и болота, посреди глухого леса — асфальтированные улицы и площади, цветы на балконах и на клумбах, универ-

маг, кинотеатр, киоски для продажи газет и киоски для продажи газированной воды.

Было раннее воскресное утро. Дворники подметали улицы. Из раскрытых окон доносились знакомые команды утренней гимнастики.

Городок как городок. Ничего присущего только будущему мы в нем не заметили.

Высокий юноша в очках, майке и спортивных шароварах выбежал из дому, по-видимому намереваясь сделать утреннюю разминку.

— Пойдите, — сказали мы, — где здесь можно заглянуть в будущее?

Он сразу понял, о чем идет речь, и, расспросив, кто мы такие, воскликнул:

— Вон оно, там за лесом. Хотите, провожу?

И ловко вскочил на заднее седло нашего мотоцикла.

Среди вывороченных коряг и заболоченных котлованов высились строгие стены недостроенных зданий и белой башни. Вокруг — толпа подъемных кранов, а за ними — громадные прожектора, как на стадионе.

Наш молодой провожатый оказался инженером.

— Все в нашей работе неизвестно, — говорил он, — нет ни опыта, ни исчерпывающих знаний. Больше — интуиция и эксперимент.

С молодым увлечением он рассказывал о формулах биологической защиты и законах атомной механики, а когда мы признались, что не знаем ни формул биологической защиты, ни законов атомной механики, он вдруг погрузился. Но он постарался скрыть это, потому что был гостеприимным хозяином. Только пожалел, что мы не можем понять, как интересно здесь работать молодым специалистам, и продолжал рассказывать о стройке, правда, не так уж увлеченно, как вначале.

Он говорил, что атомная электростанция строится, как самая могучая крепость. Здесь стены небывалой толщины. Чугунные двери будут герметически запирают все входы, а для использованных урановых

стержней устроены колодцы, которые называют «могильниками». Все это делается для того, чтобы обезопасить людей от атомных излучений. Он рассказывал, что особая сложность стройки заключается в том, что управляющие и контрольные приборы монтируются одновременно с кладкой стен. Некоторые приборы будут навечно замурованы в стены, а механизмы здесь такие нежные, что даже самый чистый воздух окажется для них слишком запыленным и воздух будет подвергаться особой фильтрации, а стены ежедневно омываться водой.

Мы внимательно слушали молодого инженера, но воспринимали его рассказы только разумом, а не сердцем. И стройка казалась нам обычной, похожей на все другие стройки, которые мы видели. Нам было немного стыдно этого. И еще нам было немного грустно оттого, что мы так избалованы успехами науки и техники и нас уже ничто не может особенно поразить. И еще нам было грустно потому, что мы понимали: из-за недостатка знаний мы похожи на глухих, пришедших слушать концерт, или на слепых в зале музея.

«Это и есть будущее? — думали мы с некоторым разочарованием. — Или мы не смогли заглянуть в него: стояли на самом краю и ничего не увидели...»

И так, наверное, мы и уехали бы отсюда, не заглянув в будущее, если бы, проезжая опять по городку строителей, не встретили там рослую светловолосую женщину, которая остановила нас властным жестом.

— Кто такие? — спросила она. — Откуда? Куда? — и добавила: — Я редактор местной газеты. Вижу, какие-то едут на мотоциклах, судя по виду — издалека. «Ну, — думаю, — материал для газеты».

Мы не знаем, оказались ли «материалом для газеты», но благодаря Ангелине Константиновне Хитровой у нас осталось такое чувство, будто мы действительно увидели еще неясные очертания какой-то дали.

Мы поднялись на второй этаж, в маленькую очень светлую квартиру, где еще не были прибраны постели и не убран со стола завтрак.

На диване сидели трое: мальчик и девочка, белокурые и нежные, как одуванчики, и очень симпатичный широколицый мужчина с ясными застенчивыми глазами. Он мастерил из дерева кораблик, и все вокруг было засыпано стружками, а дети влюбленно следили за каждым движением его больших добрых рук.

— Знакомьтесь, — сказала Ангелина Константиновна, — мой муж, Петр Алексеевич.

Она решительным жестом сдвинула в сторону чашки, села за стол, раскрыла блокнот и сказала:

— Ну, давайте работать.

Страница ее блокнота так и осталась чистой, а в нашем блокноте появилась торопливая запись.

Вот она:

«...Сборный железобетон. Слесарь Геннадий Чепчугов... Дмитрий Лебедев (?)... «Увлеченность, главное — это увлеченность, — говорит А. К. — Мы все как поэты. Вот и я тоже пишу стихи. Не могу не писать. А другой пишет музыку, а третий — картины. Ведь это такая красота!.. Ведь мы, как космонавты, забираемся туда, где никто никогда не бывал... И вырастить первый цветок на клумбе, и заложить первый фундамент тоже...» Почти все со средним образованием — и каменщики и плотники... По комсомольским путевкам из Свердловска, Москвы и Ленинграда... Приехали лесорубами, а теперь — кто окончил техникум, кто в заочном институте... «И дело не в образовании, — говорит она, — а только в способностях: простого парня ставят начальником, и он отлично работает...» Спортивный зал... Энергетический техникум... Недавний разговор в одной бригаде: как много хочется, как много нужно. «Нет, не вещей, что в них, в вещах? Хочется таланта, ума, знаний, любви. Вот в чем богатство!..» Разговор на собрании о борьбе с завистью, лживостью... «Вы поедете дальше, если

встретите хороших ребят, посылайте к нам. Мало ли таких, кто еще не нашел себя, еще ничего не умеет. Мы поможем, у нас были всякие...» Лучшие из лучших: Леонид Бендер, Николай Кахно, Алексей Нечаев, Степан Рудниченко...»

Мы спросили:

— А кто все-таки самый лучший?

— Самый лучший? — она задумалась и думала долго, молчаливо выводя в блокноте кружки и квадратики. И вдруг мы заметили, что эта большая, восторженная и властная женщина смутилась, и смущалась все больше и больше, и чудесно покраснела, как девочка.

— Только вы этого не пишете, — сказала она тихо, не поднимая глаз. — Он! — и кивнула в сторону дивана, где сидел с детьми ее простецкий, тихий и замечательно симпатичный муж. — Вы не подумайте, что я говорю так, потому что он муж. Он бригадир комплексной бригады, это у нас лучшая бригада. В газете мы ничего о нем не пишем, сами понимаете... А он такой человек! Ой, такой человек!.. Нет, я о нем рассказать не умею.

В ТАЙГЕ

По дороге к Тюмени все тайга и тайга. На каждом стволе — мох. Костлявыми уродливыми чудищами торчат полугнилые коряги. Кажется, что где-то там, в глубине чащобы, чавкает, булькает и пузырится жадная трясина.

Тайга нехотя пропускает нас через свой страшный зеленый мрак. Это она разгребла перед нами дорогу, оставив на ней мокрые, топкие бугры и вмятины.

Тучи мошкары обрушиваются на нас, как только мы останавливаем мотоциклы. Достаем заветную бутылочку с репудином и яростно натираем лица. Мошкара кружится вокруг нас и гудит. Отдельные смельчаки робко касаются нашей кожи и сразу же с отвра-

щением отлетают подальше — репудин им явно не по вкусу.

Деревни здесь большие. Они окружены полями. И дома в деревнях большие и тяжелые. А колхозные мастерские похожи на заводы. Вдоль тракта золотятся свежие бревна новых построек. Людей не видно — все на работе: в полях, на фермах. Только дети, слышав наши мотоциклы, вытягиваются, как солдаты на ученье, и долго провожают глазами.

Еще интересуются нами жеребята. Тонконогие и настороженные, они с пугливым любопытством поджидают нашего приближения и вдруг вздрагивают, подкидываются на своих четырех тонких пружинках и, восторженно взбрыкивая, уносятся под защиту кобылиц.

Остановились в селе Успенском. Зашли выпить молока к охотнику Алексею Саввичу Пимневу.

В доме у Алексея Саввича тесно. Все тут, как и должно быть у охотника: ружье, чучела птиц, голова дося, барсучья шкура и пахнет псиной.

Алексей Саввич рад собеседникам. Волосы у него седые, встрепанные, телом он худ и неприметен, а глаза — мальчишеские, лукавые, веселые. Говорит так, что не поймешь — то ли правду рассказывает, то ли привирает.

— Ежели ветер оттуль, а ийти надо оттуль, так и не думай. Ветер зверю, что телеграмма, все раз-раз и донесет. А зверь, он страсть какой любопытный. Ему охота все знать, где что деется. А нонче тайга не та, нонче в тайге весело — там лес валят, там завод строят, там геологи чево-то рыскают. Вот зверя и губит его любопытство. У нас тут недалече мужики просеку рубят. Человек двадцать. Шум. Треск. Движок гудит. А у меня глаз на зверя метаный. Вижу — на суку рысь притаилась. Внизу мужики пилят дерево, а она сидит, значит, и сойти боится... А другой раз, на зорьке, пошел капканы проверять. Глянул, а у осинника вышка буровая. Откуль взялась? Вчерась не было, а сегодня — на тебе! Стою — дивлюсь. Глядь, а в осиннике медведь. Во какой, что теленок. Тож

стоит, дивится. Я дивлюсь, и он дивится. Смотрит на вышку, любопытствует. «Ну, — думаю, — неужто в такую башку промажу?» Да как вдарил. Дыму-то много, не вижу, только слышать: кха-кха. Значит, кровью харкает. А я зверя жалею, ведь он что человек, только глупый. А охотников не люблю. Какая-то у них азартность, как у волка. Есть не ест, а бежит и давит, и давит...

На счету у Алексея Саввича Пимнева четыре убитых медведя и около ста волков. Каждый год он получает премию за перевыполнение плана сдачи пушнины.

Ночевать у охотника было негде. Пошли в соседний дом, где живет комбайнер Николай Севастьянов.

Дом у Севастьянова просторный, на окнах — цветы, на стенах — почетные грамоты и дипломы. Дипломы и грамоты помещены в рамки и украшены бумажными цветами. За что только не награждали хозяина! За спортивные достижения в районных соревнованиях. За отличную учебу на курсах механизаторов. За активное участие в художественной самодеятельности. За высокие темпы ремонта механизмов. За хорошие показатели в проведении уборочных работ. За участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Хозяина дома не было. Он был еще в поле или в мастерских. Мы познакомились с ним только по фотографиям. С одной фотографии на нас глядел чистенький, тщательно расчесанный мальчик, на смерть перепуганный ответственностью перед фотообъективом. С другой — бравый насмешливый солдат в пилотке набекрень. С третьей — франтоватый жених, в галстук, исполненный важности и достоинства.

Нам очень хотелось увидеть его в действительности. Мы долго ждали, но, так и не дождавшись, заснули.

А утром его опять не было.

Хозяйка сказала:

— Поспал часа три — и снова в поле.

РУБЦЫ ВОЙНЫ

Весь день ехали по сибирским просторам, мимо громадных полей и трепещущих рощ. Ветер шевелил траву, цветы, деревья, и от этого рябило в глазах.

Проехали за день 350 километров. Вечером были в селе Аббатском. Верхом на гребне крыши сидел веселый богатырь. Он укладывал новую черепицу и пел. Ему помогала жена — тоже большая, сильная, красивая, с пышной черной косой, уложенной на голове венцом. Она взбиралась по лесенке, приставленной к стене дома, подавала наверх красные черепичные плитки и тоже пела.

Мы попросились на ночлег. Пустили охотно, даже предложили истопить баню. Позже все вместе пили чай из громадного ярко начищенного самовара.

В доме горело электричество. Стопа подушек на кровати высилась почти до потолка. Повсюду были вышитые салфетки и покрывала. По радио слушали передачу из Москвы. В доме царили покой, дружба, благополучие.

Хозяин работал в колхозе бригадиром, был избран партгором, о нем писали в газетах. Мы смотрели на его могучие плечи, на великаны руки, на цветущее лицо и думали: «Вот они, сибирские люди, вскормленные щедрой сибирской землей!»

Когда стемнело, надо было завести мотоциклы в ворота. Ворота были перегорожены бревном такой толщины, что не обхватить. Мы втроем взялись за один конец, но хозяин отстранил нас, поднял бревно один и легко отбросил его в сторону.

— Ну и силища! — сказали мы.

— Какое! — ответил он. — Вот до войны, так я был действительно сильный. А теперь весь покореженный.

Ложась спать, он снял с себя рубаху. Мы увидели на его могучем теле рубцы, страшные багровые рубцы. Они как змеи лежали на плечах и лопатках.

Рубцы войны. Они заросли, но остались. Остались

всюду, где бы мы ни проезжали. И даже здесь, в Сибири, где войны не было. Остались на телах людей и в их душах.

САДИК В САДУ

Вот мы и в Омске. В городе, а будто в парке. Остановишься, сойдешь с мотоцикла, пробежешься, раздвигая кусты и ветки, сквозь ароматную зелень, а там — завод или большой жилой дом, или магазин, или кинотеатр.

Едем по маршруту троллейбуса номер один. Троллейбусные остановки: «Город цветов», «Сад Сибзавода», «Сад пионеров», «Городской сад», «Парк культуры и отдыха».

Нам рассказали, что в Омске высажено семнадцать миллионов цветочных кустов — на каждого жителя по тридцать кустов. А деревьев только в этом году посажено шестьсот тысяч — на каждого жителя по дереву.

В Омске много заводов. Еще больше — строится. Вокруг новых заводов возводят жилые дома. Но не видно ни строительной пыли, ни подъемных кранов, ни железобетонных блоков. Все растворяется в зеленой пучине листвы.

В громадном саду на краю города огорожен маленький садик. Здесь низенькие деревья, маленькие скамеечки, крохотные огородные грядки. Здесь живут маленькие люди, веселые и беспечные, в ярких платицах и штанишках. И живет среди них маленькая старушка. Ее зовут Пиама Прокопьевна Парай. Двадцать пять лет она заведует детским садом № 3. Двадцать пять лет назад здесь был пустырь; все деревья, кусты и цветы, которые здесь растут, посажены ее руками.

Двадцать пять лет — большой срок. Много цветов выросло в садике.

...Высокий широкоплечий моряк с золотыми погонами на черном кителе выходит из трамвая. Он нерешительно открывает калитку и стоит огромный и

бравый перед маленькой старушкой. И смеется, и чуть не плачет.

— Не узнаете меня, нет? Да ведь я Юра Богатырев! Не помните?

...Счастливая пара приносит букет цветов.

— Мы к вам, Пиамы Прокопьевна, прямо из загса.

Старушка долго смотрит на них, вспоминая, и вдруг всплескивает руками:

— Боже мой! Так это же Зочка Ревич и Жоржик Подбельский!

...Мы спрашиваем у Пиамы Прокопьевны:

— На пенсию не собираетесь?

— Вот достану детский гарнитур, — говорит она, — и выйду на пенсию. Я уже с пятьдесят пятого года имею право на пенсию.

— Она выйдет! — иронически говорит ее муж, красавец пенсионер с пышными седыми усами. — Сначала все ждала, чтобы акации на главной аллее сошлись над головой. Ну, сошлись. Я говорю: «Не пора ли, старушка, на покой?..» А она: «Вот проведу детишкам водопровод, тогда и на покой...» Есть теперь водопровод. Я опять: «Не пора ли отдохнуть?..» А она: «Вот проведу детишкам паровое отопление, тогда и буду отдыхать...» Знаю я ее, — говорит он, покручивая свой седой гусарский ус, — никогда она не успокоится.

Когда мы теперь думаем об Омске, то всякий раз вспоминаем громадный сад и в нем маленький садик, и маленьких беспечных людей в том садике, и среди них маленькую, веселую, всегда озабоченную старушку.

В БАРАБИНСКИХ СТЕПЯХ

В Омске нас пугали: «Остерегайтесь барабинских волков! Они ходят стаями и набрасываются на людей». Но ни одного волка в барабинских степях мы не встретили. Выли только грузовики на тракте, их было очень много. Они шли на восток и на запад.

Сибирский тракт! Сколько колодников прошагало по нему, звеня кандалами, к далеким сибирским

тюрьмам! Сколько колес проскрипело здесь в давние времена! Столетиями прорыты эти глубокие колеи.

А оглянешься кругом — всюду трава, высокая и сочная. Плывут над травой птицы, плывут в траве тракторы. За каждым трактором цепочкой сенокосилки.

Проехали город Куйбышев. Не тот, что на Волге, а тот, что в барабинских степях. Странно, что до сих пор мы ничего не слышали об этом городе. Здесь все новое: и широкие улицы, и многоэтажные дома, и электростанция с плотиной.

На окраине города высятся подъемные краны, гудят самосвалы, неутомимые бульдозеры роют и роют землю.

Что нам делать? Мы уже проехали много городов и о каждом должны были бы написать так же: «Высятся подъемные краны, гудят самосвалы, неутомимые бульдозеры роют и роют землю». Вот если бы мы встретили хоть один город, где не строились бы заводы и жилые дома, наверное, остановились бы, пораженные, и записали в своем блокноте так: «Этот город не похож ни на какой другой город Советского Союза».

Но такого города мы не встретили. Да его, наверное, и нет в нашей стране. Каждый месяц у нас строится столько жилых и промышленных зданий, что если бы их собрать в одно место, то получился бы город, равный Баку или Киеву.

МЫ ГОТОВИМ НЕБЫВАЛОЕ БЛЮДО

Мы, конечно, знаем, что суеверия — чепуха, невежество и пережиток. Мы отлично знаем это и можем убедить кого угодно. Но не вздумайте убеждать старшего из нас, что можно ехать дальше, если дорогу перебежала черная кошка. Он скажет: «Конечно, можно, но лучше не надо». И обязательно вспомнит, что два года назад, где-то около Гомеля, черная кош-

ка перебежала нам дорогу, и в тот же день сломалась рама велосипеда.

Младший, конечно, потешается над такой ерундой. И пусть хоть целое стадо черных кошек перебегает дорогу туда и обратно, он не станет плевать через левое плечо, как это делают некоторые другие. Но стоит старшему дать телеграмму в город, чтобы нам к такому-то числу забронировали комнату в гостинице, как младший пугается: «Что вы сделали? Не доедем! Теперь обязательно что-нибудь случится».

И ведь прав же. Если даем телеграмму, то никогда не приезжаем к назначенному сроку. Обязательно что-нибудь случается.

Так было и на этот раз. Дали телеграмму в Новосибирск. До города осталось километров сто. И вдруг толчок, звонкий металлический хруст, и наш «ИЖ» останавливается.

Оказалось, налетели на кусок старой автомобильной рессоры.

Странное дело. Из наших двух мотоциклов всегда что-нибудь случается именно с «ИЖем». Алексей Ковалев зальет в бак бензин, подтянет цепь, чтобы не болталась, проверит несколько креплений и едет с утра до вечера на своей «макаке», горя не зная. А мы на своем «ИЖе» только и ждем, что с ним что-нибудь случится.

Иногда утром заводишь-заводишь, и хоть бы один выхлоп! Молчит, да и только. Подхватываем мы тогда его все втроем и бежим по улице. Люди идут на работу, смотрят на нас, одни жалеют, другие смеются, а мы бежим и толкаем нашего упряма и умираем от стыда, пока не раздадутся первые выхлопы.

А в пути тоже: то щиток отлетит, то тросик порвется, то прокол. От самого Ярославля у «макаки» еще не было ни одного прокола, а наш будто специально отыскивал на дороге все острые стекла и гвозди, чтобы наехать на них и проколоть покрышку и камеру.

Мы уже так научились снимать колеса и заменять камеры, что делали это меньше чем в полчаса. Самые крупные гвозди, пропоротившие нашу покрышку,

мы коллекционировали, а один здоровенный гвоздище, который еще у Камы пробил нам не только резину, но и погнул обод, мы даже привесили к рулю, как талисман, как напоминание: «Будь осторожен!»

Но талисман не спас. Острый кусок ржавого железа вонзился в крышку картера и проломил ее. Все масло вытекло. Что делать? Достать новую крышку картера вряд ли удастся даже в Новосибирске. Заварить — не везде есть алюминиевая сварка. Ехать без масла — значит загубить двигатель.

И вот мы сидим на дороге. Гаснет заря. Надвигается ночь. Кругом ни деревни, ни человеческого голоса. Только степь, одиночество и жалкая беспомощность.

И вдруг Алексей Ковалев начинает смеяться. Он сдвигает на лоб свои очки-консервы и хохочет громко и вызывающе.

— Чего ты смеешься? — спрашиваем мы.

— А что еще делать? — отвечает он. — Вы можете предложить что-нибудь другое, более разумное?

Но ничего более разумного мы предложить не можем. И тоже смеемся вместе с ним.

Над чем мы смеемся?

Над своей беспомощностью. Что может быть смешнее, чем беспомощный человек, у которого целы руки и ноги и цела голова, который имеет среднее техническое образование, читал классиков, пишет стихи и рассказы — и сидит посреди степи, в сгущающихся сумерках, держа в руке глупый кусок металла с громадной трещиной?

Это так смешно, что мы просто покатываемся.

— Вот это я понимаю! — говорит младший. — Три года учиться в ремесленном училище, четыре года в индустриальном техникуме, два года работать на заводе, а потом спасовать перед паршивой трещиной!

— Главное, — говорит Алексей Ковалев, — в нашем распоряжении столько отличных инструментов: молоток, плоскогубцы, напильники, двенадцать гаечных ключей разных размеров!..

— И резиновые заплатки, — подхватывает младший, — и медная проволока, и бакелитовый клей...

— Бакелитовый клей?.. И тальк?.. — кричит Алексей Ковалев. — Так мы же сделаем отличную замазку!

Мы достаем молоток и долго стучим по алюминию, расчеканивая края трещины; мы готовим небывалое блюдо из бакелитового клея, талька, слюны и дорожной грязи. Мы замазываем трещину, ждем, пока замазка высохнет, ставим крышку на место и заливаем в картер масло. Заводим двигатель. Масло не вытекает. Почти не вытекает. Двигатель работает отлично. Мы опять начинаем хохотать. Слава мастерам нашего ремесленного училища, научившим нас не бояться металла! Слава работягам — слесарям и механикам, научившим нас «химичить»! Слава любимым писателям, научившим нас смеяться в беде!

Между прочим, нам так и не удалось заменить поломанную крышку. И заварить ее не удалось до самого Еревана. Так и проехали с пробитым картером 12 тысяч километров. И ничего.

А ДОЖДЬ ВСЕ ИДЕТ

А дождь все идет. Он идет уже третий день. Если даже утром мы видим чистое небо, то стоит оглянуться получше — и где-нибудь вдаль обязательно заметишь маленькое облачко, которое ведет за собой пока еще скрытое за горизонтом хмурое стадо облаков. А еще через час или два уже все небо затянуто тучами. Они громоздятся над нами, похожие на огромные серые валуны, готовые вот-вот грохнуться на землю. А с полдня дождь. И так — третий день.

И третий день — однообразные поля хлебного Алтая, серые и мокрые; и редкие села, как бы прибитые дождем к земле; и черные вороны на черной дороге. Вороны взлетают перед нами, опустив длинные когтистые лапы, и с недобрим карканьем улетают в поля.

Дорога не просыхает. Машину часто заносит в сторону, и она вязнет в глинистой жиже. Мы очень устали — едем с шести утра. Иногда делаем короткие остановки, молча курим, молча отламываем по куску

хлеба и молча жуем его. Не хочется даже разговаривать — нам уже все безразлично, лишь бы скорее кончился день, наступил вечер, лишь бы скорее завалиться куда-нибудь спать.

В морозящем тумане возникло большое село. Накинув на голову клеенку, дорогу перебежала женщина. Навстречу прогрохотал трактор. Прошли нескладным строем юноши и девушки в одинаковых бушлатах. На перекрестке остановились двое — у нее в руках счеты, у него портфель. Люди возвращаются домой, готовят обед, слушают радио, собираются в кино, только мы одни едем неизвестно куда и неизвестно зачем — всем чужие, бездомные, из дождливой дали в дождливую даль.

Наше чувство одиночества и непричастности к людям так нестерпимо, что хочется хоть на минуту остановиться. Мы придумываем повод. Сигареты! Надо бы купить сигарет!

Старший вылезает из коляски в широких непромокаемых штанах и такой же куртке. Он похож на водолаза. Он уходит в магазин, а вокруг мотоцикла собираются мальчишки — вездесущие мальчишки, наши друзья, болельщики и доброжелатели.

— Туристы или испытание?

— Глянь-ка! Из Новосибирска.

— Ты что, не видишь, написано «Ленинград»!

— Географии не знаешь. Ленинград вон где, а Новосибирск вон где!

Несколько мальчишеских рук оттирают мокрые шлепки грязи с ветрового стекла. Хором читают названия городов, через которые проходит наш маршрут.

Из кабины грузовика вылезает пожилой шофер. Он очень высокий, в синем комбинезоне с ляжками. У него седая голова, добрый беззубый рот и в глазах готовность к любым дорожным развлечениям.

— Здорово, ребятишки! — это он нам. — А ну, что тут у вас написано? — Он тоже читает вслух. — Вот это рейе! И все своим ходом? Это что же, послали или сами?

Вокруг мотоцикла уже толпа. Кто-то предлагает закурить. Кто-то расспрашивает про Ленинград («два года под Питером воевал»). Кто-то предупреждает, что болтаются канистры — как бы не отлетели. Белокурая девчушка украдкой вытирает рукавом заляпанное грязью зеркало, прикрепленное к рулю. Седой шофер высится над толпой, он отпихивает слишком назойливых и кричит:

— Да не напирайте, вот народ какой! — И снова к нам: — Тридцать лет за баранкой, уж я-то знаю: наши дороги всю душу вытряхнут. Может, вам бензинчику или что заварить надо? Так это мигом. Мы, сибиряки, люди простые — не стесняйтесь. — И опять в сторону: — Не прите! Русским языком говорю. Люди из Ленинграда едут, а вы на них как медведи.

Не больше десяти минут мы пробыли среди людей. И какое такое чудо есть в участливом взгляде, в добром слове?

Мы поехали дальше. Ни усталости, ни тоски, ни одиночества. Даже лихость какая-то появилась.

— А ну, рванем?

— Рванем!

— А ну, споем?

— Споем!

И мы даем полный газ. Мотоцикл мотает из стороны в сторону. Нас обдаёт брызгами. А мы ревом во всю глотку песни, и мчимся под дождем по нашей уютной земле, мимо мокрых полей, рощ, деревень, и знаем, куда едем и зачем едем, и весь мир кажется нам родственным, и наш мотоцикл кажется нам домом, и мы готовы еще много часов мчаться в дождливую даль.

НАША ДОРОЖНАЯ КАРТА

Мы возьмем с собой большую карту Советского Союза. В Ленинграде она была красивой и яркой. Теперь она выцвела, сморщилась от сырости, а на сгибах протерлась и полысела. Мы очень бережем нашу карту, нам кажется, что без нее мы были бы просто бродягами.

Говоря по правде, она нужна нам вовсе не для того, чтобы находить дорогу. И без карты мы не заблудились бы — ведь всюду есть прохожие, идут автомашины, а на главных перекрестках шоссе установлены указатели. Но мы разглядываем нашу карту на каждом привале, и вечером перед сном, и утром перед тем, как завести моторы.

Что бы мы делали без нашей дорожной карты? Один километр оставался бы только одним километром. А взглянешь на карту, и он становится частью большого пути. Каждый день мы видели бы только лес или степь, или реку. А поглядишь на карту и видишь леса, степи, реки.

И каждый раз, когда мы разглядываем карту, у нас захватывает дух от радостного и горделивого чувства пространства: вон он где, наш Ленинград! А вон он где, Горно-Алтайск!.. Сколько областей, сколько городов лежит между ними! Как громадна наша страна!.. Мы чувствуем странную причастность к величию земного шара. А человек, чувствующий величие земного шара, как-то иначе относится ко всему: и к плохой погоде, и к тому, что Алексей Ковалев сегодня не в духе, и к тому, что письма младшей сестренки лежат до востребования в Томске и Барнауле, куда мы не заезжали.

ПИСЬМО МЛАДШЕЙ СЕСТРЕНКЕ

Милая младшая сестренка!

Сегодня двадцать пятый день, как мы расстались. Ночью перечитал все твои письма, их накопилось уже так много, что они не помещаются в моих карманах; я завернул их в чистую рубашку и спрятал на дне багажника, где хранится наш путевой дневник.

Ты, пожалуйста, ничего не бойся, ни того, что может случиться со мной в пути, ни того, что будет с нами в Ленинграде... Когда ты меня увидишь, может быть, я сначала покажусь тебе не таким, каким ты меня помнишь. Тебе может даже показаться, что

я совсем другой, и ты почувствуешь какое-то разочарование. Но не поддавайся этому первому чувству, через несколько дней ты опять узнаешь меня.

Не бойся, что в Ленинграде у меня нет своей комнаты, что мы проживем пока у моих товарищей. И не тревожься, что ты ничего не умеешь: не можешь пришить пуговицу, вымыть пол и сварить обед. Я сам умею все это делать и научу тебя всему.

Не бери с собой в Ленинград никаких вещей, мы начнем все сначала. У меня тоже нет ничего, только несколько книг, и это очень хорошо, потому что каждую вещь, которую мы приобретем вместе, мы особенно полюбим.

Я обещал привезти тебе все самое лучшее, что встречу в пути. Но как привезти ясное небо, солнце, скорость и ветер? Я, пожалуй, привезу тебе нашу дорожную карту. Мы повесим ее на стену, и она наполнит комнату, где мы будем жить, светом, пространством и приключениями. И от этого нам никогда не будет скучно.

ВСТРЕЧА НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ

Ехали по Чуйскому тракту, вдоль буйной горной реки Катунь. Она бугристая и пенистая. Глядишь на нее — кажется, что вместе с потоком катятся громадные валуны.

Весь день шел дождь. Он проходил полосами, крупный и густой. Катунь еще сильнее закипала, вспучивалась и темнела. На изгибе реки в самый сильный ливень появился плот. Четыре человека в широкополых шляпах управляли шестью.

Река была глубоко внизу, в ущелье. А кругом горы, покрытые черным густым лесом. Дождевые тучи тяжело вываливались из-за хребтов. И вдруг над рекой, над плотом и над всей долиной перекинулась яркая перламутровая радуга.

На ночьле остановились в большом каменном доме дорожного ремонтера. На крыльце сидел человек с косой челочкой и нагловатыми глазами. Его

окружали мальчишки. Большие и маленькие. Все босоногие, с удочками и все с вопросами.

— Дядя Коля, а дядя Коля, ваши кролики мышей едят?

— Дядя Коля, а вы на охоту завтра пойдете?

— Дядя Коля, а вы барса когда-нибудь видели?

Мы тоже обратились с вопросом:

— Можно у вас переночевать?

— Ночуйте, — сказал он, — места не жалко.

И поднялся нам навстречу.

Мальчишки упорхнули стайкой воробьев, и длинные удочки покачивались над ними, как пики. Только один, худенький и встрепанный, все не хотел уходить и пытался рассказать о какой-то драке.

— Я его ударил справа, а он говорит: не по правилам.

— По правилам, — сказал дядя Коля. — С катушек сшиб, значит по правилам. — И крикнул жене: — Гости к нам!

На крыльцо вышла невысокая женщина с большими грустными глазами. Она была босая, в мешковатом неопрятном платье.

— В доме-то не прибрано, — сказала она. — Может, чайку поставить?

В кухне, кроме плиты, стола и табуретов, ничего не было. Пусто было и в большой комнате. В одном углу лежал ворох ватников и тряпок. В другом стояла пружинная кровать без матраца.

— Не прибарахлились еще. Вот портки мне баба купила за три червонца, а теперь жрать нечего, хоть копыта отбрасывай, — весело сказал хозяин.

Он сел на подоконник, поставив ногу на стул. Он был невысокий, сухой, в красной майке, в новых брюках и болотных сапогах с отогнутыми краями. Спина и плечи мальчишеские, движения внезапные. О чем бы он ни говорил: о смерти, о голоде, — все получалось залихватски весело и беззлобно.

Николай Николаевич Колышлев шестнадцать лет отсидел в гюрьме и лагерях. Пятнадцатилетним парнем он уже грабил дома в Горно-Алтайске, чистил карманы на базарах, кутил.

«Но больше я промышлял на тракте. Грузовички шли в Монголию. Контейнеры таскали. А я подрабатывал. Заберешься с вечера на скалу, а ночью шарах в кузов. Замок с контейнера по боку, а шмотки партнеру кидаешь. Однажды сработал, а там игрушки: попугайчики, соски. Пошлость одна. Вот поедете дальше, ту скалу поглядите. Как раз на изгибе. Между прочим, на моей дистанции. Первый срок мне намотали по-божески. Восемь лет. А там — карты, дебоши, промышлял понемногу: у кого передачку ханнешь, у кого — пайку. К концу срока одному начальнику физиономию кулаком размазал. Еще десять добавили. И — труба!

До сорок восьмого года я был вором в законе. Ну, это, по-нашему, честный вор, значит: никакой работы не делает. А в лагере всякие масти есть. И всякая масть свою марку держит. Ну и резня. Сидят все по углам и зубы друг на друга точат. А если попал в другую масть, тут уж не спи — зарежут... У меня дружок был. Хороший такой, весельчак, башковитый. Глаза, как у козленка. Как-то утром просыпаемся, а у него нож в спине. Мы все там как волки были. Никого не жалели. За мной трое с ломками однажды погнались. Брыкаюсь я, как заяц. Куда податься? Кругом забор, метра два, колючка ржавая. А они все в башку метят. Свистнул я, да как махну через загородку. Убей, не верю, что перелетел.

Я живучий. Два раза мне уже бирку к ноге привязывали. В морге валялся. Очухался — холодина. Думал, одеяло сперли. Темнота. Руками шарю. Чувствую, чья-то башка в мой лоб тычет, руки, ноги. Пригляделся, а надо мной морда зубы ощерила и черная капля на носу. Орал я, орал — не открывают. Закоченел, как деревяшка. Сел на доски и думаю: достукался ты, Колька, до пошлости. Утром сторож сунулся в морг, а труп на ногах стоит — потеха! А потом думаю: тридцать стукнуло, а разве я человек? Хоть бы раз на рыбалку сходить. Очень уж меня почему-то на рыбалку тянуло. «Смоюсь, — решил, — у меня ноги скользкие».

Он убегал четыре раза, и всякий раз его ловили и возвращали обратно. А о рыбалке думалось все больше. И все больше мечталось о воле. «Хватит, — сказал он, — так и вся жизнь пройдет. Надо кончать». И впервые взялся за работу.

Неожиданно пришла амнистия. Вышел такой закон: тех, кто посажен до совершеннолетия и ни разу не выпускался, освободить.

У Николая Николаевича спросили: будет ли он воровать на свободе?

Он ответил:

— Что я могу сказать? Скажу, что не буду, все равно не поверите. Скажу, что буду, — не выпустите. Смотрите сами.

Его выпустили.

«Пошел за паспортом, и не верится. Иду без конвоя, никто не орет на меня. Попробовал бежать — все нормально. Беги себе, никто и внимания не обращает. Воздуха кругом — навалом. «Ну, — думаю, — паспорт — это, наверное, книжища — во! Из чистого золота». Я ведь никогда его не видел...

С Колымы дорога длинная, с голоду загнешься, пока доедешь. Кинулся я к начальничкам: «Дайте, — говорю, — заработать». Устроили на промысел. Золото искать. За три недели восемь тысяч отхватил. Купил касторовый костюм, чистой шерсти, приделся. Решил махнуть на Алтай. А я тогда цены-то деньгам не знал. Пока доехал, один червонец остался. Вышел я на станции, смотрю: по перрону дамочка прогуливается, лет двадцати. Идет она и дочку за руку держит. Щуплая такая, черненькая. Подкатился к ней. Слово за слово. «Нет, — говорит, — у меня ни мужа, ни отца, ни матери, ни дома. Куда податься — сама не знаю».

— Всего, — говорю, — у нас поровну. Покатились вместе!

Ее Зоя звали. Славная такая была...

Сели мы на попутную машину. Довез мужик нас до какого-то села. Ночь. Темнота. Спрашиваю у прохожих: «Что это за место такое?» Говорят: «Долина

Свободы». Вот это лафа! Самое место для меня. Лучшего не придумаешь.

Утром кинулся работу искать. Прихожу в милицию. Так, мол, и так. Стали проверять документы.

— Вы, — говорят, — из тюрьмы, вор.

«Ну, — думаю, — бюрократы несчастные, что мое прошлое копают? Этим я по горло наелся. Я же по чистой вышел, честно пришел, никому ничего, все что было черным крестом вычеркнул, а они заново копают».

— Ладно, — говорят, — работу мы вам дадим, с квартирой. Будете дорожным ремонтром высшей категории. Четыреста рублей зарплата.

Приехали мы сюда. Дали мне лопату и кайло. Перебросал я в первый день двенадцать машин гравия, пришел домой, кинул лопату в кусты. «Вылечу, — думаю, — на трассу, пока не подох с этой работы».

Аванс в первый же день проели. И касторовый костюм по боку. Зоя по ночам уговаривает: «Брось дурить, что тебе эта трасса? Проживем как-нибудь». А нервы у меня дурные. Заплачет ночью девчонка, я вдруг как заору — самому жутко. Потом ничего, успокоился. Привык. Картошку посадили. Кроликов завел. Зоя забеременела. «Порядок, — думаю, — человеком становлюсь». Премию мне подкинули, ружьишко купил, блесен штук двадцать наделал, приборахляться стали. Кровать все хотели купить для Зои, спала она на полу, на тряпках, и стонала по ночам во сне. Живот большой, а сама щуплая такая. Стеснялась. «Ты, — говорит, — не гляди на меня, еще разлюбишь». А тут пошла она вечером на речку рубашки стирать, а по шоссе «ЗИЛ» летит. Пьяный вел его. Налетел на обочину и сбил Зою. Поднял я ее на руки. Легкая, что перышко. Иду, а у самого ноги гнутся. Похоронил я ее у дороги. И столбик над могилой поставил. «Ну, — думаю, — ничего больше не надо — вылечу на трассу». Но не вылетел. Остался тут. Сдал девчонку в детдом. Посмотрю на нее, и жжет меня, точно мышьяк проглотил. Поклялся я тогда:

ни одного пьяного гада не пропущу мимо дома. Никакими богами не отмолятся...»

Николай Николаевич стал общественным автоинспектором. Шоферы Чуйского тракта почувствовали, что домик дорожного ремонтера на сто первом километре — это застава, которую невозможно пролететь под хмельком или с лихостью.

«Только не везет мне: все грошей нет. Картошку посадил — не выросла. Поросечка растили — сдох. Кролики дохнут. Ружье другу дал пострелять, так он его шарахнул о дерево — и приклад в щепки. В хате — шаром покати. Опять хоть на трассу выскакивай».

— Теперь уж не выскочишь, — сказала женщина тихо.

Все время, пока он рассказывал, она стояла у плиты, скрестив на груди руки, и грустными любящими глазами смотрела на него.

— Теперь-то он не такой. Его тут все любят: и детишки и взрослые. Начальство к нему в гости приезжает. У него и грамоты есть. И из Москвы и краевая. А картошка у нас будет. И поросеночка купим. У нас и огурчики есть и капуста. Он к хозяйству-то неспособный, все на рыбалке да на охоте пропадает. Да пусть его, истосковался.

— Ладно тебе, не расхваливай, — сказал он смущенно.

Мы вышли на улицу. Было уже темно. Черными горбами упирались в небо горы. На тракте, как волчьи глаза, горели фары автомашин. Ночь была тихая и звездная.

Сели на крыльцо покурить.

— Завтра на рыбалку, — сказал Николай Николаевич, — тут нельмы навалом. Нельма рыба дошлая. Подцепишь ее, а она как даст хвостом — только держись. Ее к берегу сразу не выволакивай, по-тихому надо — сорвется, дура. Тут нужно ласково, на измор брать. А выволочешь — подохнуть не жалко! Лежит

она перед тобой, как бревно, и хвостом подмахивает. Красота! Я бы и спал на реке, да баба не разрешает. «Простудишься», — говорит. У меня что ни суббота компания собирается, мальчишки приходят из деревни, дружки из автоинспекции на мотоциклах приезжают. Снасти в охалку — и на реку. С ночевкой. Или в горы подаемся, козлов бить.

Мы спросили:

— А старые дружки беспокоят?

— Были как-то. Я им прямо сказал: «Смазывайте отсюда пятки. Наглotalся я вашей малины по самый верх. С меня довольно». Теперь-то я понимаю: они же крохоборы подлые, на чужой шкуре живут. Как вошь. Ко мне вот мальчишки липнут, так я им гозорю: «Я себе всю жизнь испоганил, так вы, сопляки, смотрите, такую же пошлость не сделайте».

Мы еще долго сидели на крыльце, рассказывая. Колышлеву о нашей поездке, о Ленинграде. Мы полюбили этого человека, который так весело и героически борется со своим страшным прошлым. Мы и теперь пишем ему^и и получаем от него письма.

ИСПЫТАНИЕ ДОЖДЕМ

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

22 июля

Едем по Чуйскому тракту. Места здесь такие красивые, каких, пожалуй, не увидать и на Кавказе. Нас обгоняют большие грузовики, они идут в Монголию, везут туда машины и контейнеры с разнообразными товарами. В каждом селе благоустроенные чайные для проезжих. Здесь кормят обильно и вкусно.

Собственно говоря, забираться сюда, в Горно-Алтайскую область, нам не было никакой необходимости. Намечая маршрут, мы предполагали от Новосибирска ехать к Барнаулу, потом к Семипалатинску, а оттуда в Усть-Каменогорск. Но по дороге мы столько наслышались о красоте Чуйского тракта, что решили изменить маршрут и, не заезжая в Барнаул,

проехали через Бийск в Горно-Алтайск, а оттуда стали подниматься все выше и выше в горы... И вот теперь, чтобы не возвращаться обратно, мы пытаемся проехать в Усть-Каменогорск через горы. Прямой дороги здесь нет. Как лучше ехать, никто толком сказать не может. В селе Черга долго советуемся с шоферами и неуверенно намечаем пункты: Алтайское, Солонешное, Чарышское, Змеиногорск, Шеманайха...

— Если дождей не будет, — говорят нам, — проедете.

Смотрим на небо — из-за гор опять ползут тучи.

Прощаемся с асфальтом Чуйского тракта и сворачиваем в сторону.

Мокрая каменистая дорога то стремительно падает вниз, в тесные заросшие лесом ущелья, то крутыми зигзагами взбирается по скалистым склонам.

Во второй половине дня начался подъем на Камарский перевал. Мотор перегревается. Перевал голый и каменистый. На нем лежат тучи, набухшие дождем. Въезжаем в холодный морозящий мрак. Чувство одиночества и пустоты. По краям дороги видим только суровые камни. Но вдруг услышали, что мотор запел веселее. Это начался спуск. Выезжаем из мрака. Над долиной тучи разорваны, в просветах голубое небо. Видим несколько радуг сразу. Въезжаем под один яркий свод, потом под другой. И чем ближе долина, тем веселее и радостнее.

Проехали за день 136 километров.

Ночуем в большом селе Алтайском.

23 июля

Ночью прошел дождь. Горы ниже, они лежат вокруг нас спокойными зелеными волнами. У всех встречных спрашиваем: как проехать в Солонешное? Поехали за каким-то шофером-одиночкой. Он кружит по болотистым тропам, а мы за ним. Он вброд переезжает реку, а мы за ним. Вода все выше, она уже заливает мотор и коляску, и вдруг, как раз посредине реки, мотор глохнет. Грузовик вытягивает нас тросом на берег. Все вещи в коляске мокрые. Кастрюлей

вычерпываем воду из багажника. Открыли генератор — из него хлещет вода. Возились больше часа — не могли завести двигатель, а когда раздались первые выхлопы, вода из глушителей вырывалась, как из водомета.

Радуемся крупному философскому открытию, которое поможет нам в дальнейшей жизни. Сформулировали его так: «Не зная броду, не суйся в воду».

Уже под вечер проехали курорт Белокуруху. Слева — синеватые горы со снежными вершинами, справа — бесконечная равнина. Остановил милиционер. Сначала он заподозрил нас в том, что мы шпионы и пробираемся за границу, потом проверил документы и сказал:

— Дальше не поедете! Где же еще вам отдохнуть, как не у нас? Сейчас позвоню главному врачу курорта. Вы вон как отощали, недельку отдохнете и дальше...

К милиционеру присоединились отдыхающие. Окружила толпа, и все уговаривали отдохнуть. Насилу отбились.

За день проехали 156 километров. Ночевали в селе Солонешном.

24 июля

Заснули вчера поздно. Весь вечер обсуждали с постояльцами Дома приезжих, можно ли проехать на Чарышское. Большинство сомневается. Кто-то сказал:

— Поезжайте до Тальменки, а там расспросите. Говорят, что одна машина перебралась через Березовую Гриву.

Ночью выходили на улицу смотреть на небо. Были звезды. А под утро опять дождь.

Дорога совсем раскисла. О выезде нечего и думать. Сидим на крылечке и ждем, пока дорога подсохнет. Кругом темные лесные склоны. Мы как в колоде.

Выехали около одиннадцати часов. Дорога сразу пошла вверх. Она крутая, скользкая, опасная, с неожиданными поворотами и обрывами. Вода скопилась

всюду, где только можно, образовала громадные грязные лужи и толкие трясины.

Сначала пытались преодолевать эти трясины с ходу, но каждый раз застревали посередине. Двигатель работал всюю, а мотоцикл не двигался с места. Приходилось слезать, погружаясь почти по колено в грязь. Толкали машину все втроем, поднимали коляску, подкладывали под колеса камни и ветки. А через десять-пятнадцать метров снова яма, снова трясина, и опять получасовая возня в грязи.

Потом стали действовать иначе: останавливались перед ямой и производили разведку — ногами и палкой прошупывали дно: здесь поглубже, а здесь поменьше, но более вязко. Сюда можно бросить камень, а на ту корягу кто-нибудь встанет и приподнимет коляску. Когда все было заранее продумано, операция проходила быстрее.

Проехали за день всего 18 километров.

Уже завидели впереди деревню Тальменку. Она была совсем рядом, за ручьем, только подняться по склону. И вдруг обрушился дождь. Склон стал таким скользким, что подняться оказалось невозможно. А дождь хлестал все сильнее. Укрыться негде, хоть и видны дома деревни. Решили ехать по ручью, авось где-нибудь он выведет в деревню. Ручей каменистый. Машина подпрыгивает на скользкой гальке.

Вытащить мотоцикл из ручья помог хозяин крайнего дома, семидесятипятилетний Сергей Федорович Романов. Это сухой, крепкий, суровый старик. Встретил неприветливо:

— Документы есть?

Показываем документы. Он идет за очками и очень долго читает наши удостоверения и паспорта.

— Это для меня не документы, — говорит он и небрежно отдает их обратно, — вы мне партбилеты предъявите.

Потом оказалось, что Сергей Федорович беспартийный. Был в партии, но исключен.

В 1928 году он организовал здесь колхоз и стал его председателем. В горах скрывались кулаки. Они жгли колхозные посевы и уводили скот. Одного из

бандитов долго не могли поймать. Председатель колхоза отправился на розыски сам, и когда встретил бандита, то поступил с ним не по закону, а сгоряча.

— Рука у меня слишком тяжелая, — говорит Сергей Федорович, — шарахнул я его по шее прикладом, а из него и дух вон! Мне бы тут сразу акт составить, а я не догадался. Вот за это и исключили. — Он горько вздыхает, предаваясь грустным воспоминаниям, потом говорит: — Только это райком меня исключил, а я себя не исключал, я себя до сих пор партийным считаю.

В колхозе Сергей Федорович работал до семидесяти трех лет. В последний год заработал 660 трудодней и награжден орденом «За трудовую доблесть». У него 9 сыновей и дочерей, 22 внука и 5 правнуков. Деда все уважают и берегут, но он без работы не может. Ходит по полям, по фермам, во все вмешивается, дает советы.

25 июля

Всю ночь опять дождь. До часу дня ждали, пока дорога подсохнет. Сыновья, внуки и правнуки Сергея Федоровича провожали нас из деревни. Обнадеживали:

— Главное — в гору подняться, тут немного, всего шесть километров. Если подыметесь, там уже будет легче. Правда, потом еще двенадцать километров болотом, но поищите по кустам колеи — иногда там телеги проходят.

С такими напутствиями и отправились. Почти все шесть километров, засучив штаны, толкали мотоциклы руками. Потом начались болота, и опять каждые десять-пятнадцать минут вытаскивали машины из трясины.

Уже подъезжая к деревне Большой Бошелаг, встречали телегу с двумя женщинами. Они, увидев нас, всплеснули руками:

— Ох, родные вы! Ну и грязи на вас! Как лешие. Мы говорим:

— Поменяться бы. Вы нам лошадку, а мы вам — мотоцикл.

— Да как им управлять, мы не знаем, вожжей-то у него нет. А вас, поди, заставляют кто?

И никак не могли поверить, что нас никто не заставляет, а едем мы для собственного удовольствия.

Проехали в этот день 60 километров. Ночевали в селе Чарышском.

26 июля

В Чарышском доме приезжих опять совещание: как ехать дальше? В кухне, возле холодной плиты, собрались все ночевавшие здесь шоферы. Говорят, что прямо к Змеиногорску не проехать никак. Одни советуют ехать на Колывань, другие — на Курью, третьи — на Краснощеково. Но у каждого свои оговорки: там проедете, если дождя не будет... Там снесло мост... Там без проводника не проехать...

Решили отправиться на Краснощеково. Ехать надо было так: 22 километра по тракту, а на 23-м километре свернуть в горы. Одна дорога пойдет направо — по ней ехать не надо. Другая дорога пойдет налево — по ней тоже ехать не надо. А ехать надо только прямо и спрашивать деревню Пустыньку.

22 километра промчались в полчаса. На 23-м километре свернули в горы. Увидели дорогу направо, увидели дорогу налево, а прямо шла не одна дорога, а три. Поехали по средней. Едем больше часа. Вокруг — зеленые безлесые вершины. Ни одной деревни, ни одного человека. А дорога уже несколько раз расходилась, поворачивала то вправо, то влево. Так ли едем? А небо хмурится. В черных тучах — зигзаги молний.

Послали Алексея Ковалева на разведку. Его легкая «макака» быстро взобралась по узкой тропе на ближайшую вершину. Оттуда он разглядел в одной из глубоких лощин несколько крыш. Возвращался обратно обрадованный:

— Вот она, Пустынька!

В ложбину вела скользкая тропа. Она круто падала вниз. Намертво прихваченные тормозами колеса ползли юзом. А когда спустились, увидели, что это

вовсе не деревня, а три пустых брошенных домика у ручья.

Подняться обратно было невозможно, решили переправиться через ручей и по более пологому склону, совсем без дороги, вылезать из ложбины. Ручей — быстрый и холодный. С ходу выехать на крутой берег не удалось. Стали рывками раскачивать мотоцикл, но, как назло, порвался тросик сцепления. Менять его пришлось стоя в воде. В это время разразилась гроза, стало совсем темно. Устроили необычную мастерскую: двое стояли в воде, натянув брезент, как крышу. Третий под этим брезентом работал. Свет давала «макака». Инструменты, чтобы их не потерять в воде, были связаны бечевкой.

До Пустыньки добрались уже ночью. Проехали за день 42 километра.

27 июля

Испытание дождем продолжается. В Пустыньке нам сообщили, что уже три дня сюда не приходила ни одна машина, даже киномеханик не пробрался. Это самая отдаленная ферма Покровского племсовхоза. Посоветовали ехать на деревню Маячное, и опять оговорка: если проедете по дну реки. Река Чарыш в одном месте смыла каменистую тропу. Справа — скалистый уступ, слева — вода. Поехали по дну, огибая уступ. Вода набралась в коляску. Кажется, что едем не на мотоцикле, а на моторной лодке. Все время ждали, что двигатель заглохнет, но ничего — проехали.

Опять поднимаемся в горы. Толкаем мотоцикл перед собой. Колеса не крутятся — забиты грязью. Дождь и пот застилают глаза. Так бьемся несколько часов.

Возле деревни Маячное застряли совсем. Здесь тоже ферма племсовхоза. Оставляем мотоциклы в грязи и пешком идем в контору. Нам дают трактор, мы грузим «макаку» на тракторные сани, а «ИЖ» привязываем тросом.

Теперь дело пошло лучше. Медленно, но верно ползем вперед. Кругом поля. Хлеба выросли выше че-

ловческого роста, но еще не колосятся. Трава такая, что в ней можно прятаться как в лесу, но ее не косят. А там, где скосили, она лежит на лугах и преег. Люди смотрят на небо с болью и упреком.

Вечером добрались до центральной усадьбы совхоза. За день проехали 25 километров, из них 12 за трактором.

28 июля

Проснулись и не поверили: ясное небо и солнце. Плясали от радости, как солнцепоклонники. Мы так соскучились по солнцу! Но радовались недолго. Тучи напали на небо внезапно, как кавалеристы. К девяти часам уже было пасмурно, а в половине десятого пошел дождь. Дорога так и не успела подсохнуть.

В Покровском племсовхозе много тракторов и автомашин, только машины стоят без движения. Даже тракторы готовятся к выезду, как к трудной экспедиции. Все разговоры о дожде. Если в ближайшие дни дождь не кончится, то урожай погибнет.

— А какие здесь дороги, когда сухо! — говорят нам. — Асфальта не надо!

Только около часу дня нам дают трактор. Погружаем на тракторные сани оба мотоцикла, связываем их веревками и пристраиваемся рядом с ними.

Четыре часа тащимся до деревни Варламово. Сани мотает из стороны в сторону. Часто встречаем застрявшие грузовики. Одни безнадежно увязли и уже не пытаются двигаться дальше. Другие судорожно дергаются, буксуют и еще больше погружаются в грязь.

Завидев трактор, шоферы выходят на дорогу, умоляют:

— Дерни, друг, помоги!

Трактористы, сознавая свое могущество, снисходительно отвечают:

— Всех не выдернешь!

И, неторопливо разворачивая трактор, достают трос и вытягивают машину из грязи.

За Варламовом дорога пошла лучше, и мы поехали своим ходом.

За день одолели 73 километра, из них — 20 на тракторе.

Ночуем в селе Курья, на тракте Поспелиха — Третьяково. Погода сейчас отличная. Небо ясное. Впереди — гудронированное шоссе. Пожимаем друг другу руки и поздравляем с тем, что самое плохое осталось позади.

29 июля

Проснулись от страшного шума. Кажется, будто по крыше идет поезд. Не можем понять, что такое. Оказывается — ливень. На улицу не высунуть носа. Ливень то слабее, то бомбардирует землю с новой силой.

Выезжаем только в четыре часа дня. Мчимся по мокрому гудрону. Мы уже отвыкли от настоящей скорости, не верится, что можно включить четвертую передачу, ведь все последние дни ползли только на первой и второй.

Проехав всего километров шесть, увидели, что разобран мост. Машины идут в обход полями и перебираются через ручей вброд.

Ну что ж, нам к этому не привыкать! Перебрались и мы вброд и снова выехали к шоссе.

Шоссе сооружено на высокой насыпи. Мокрый гудрон сверкает, как зеркало. Но нам никак не взобраться по крутому и скользкому откосу.

Долго ехали рядом с шоссе по болотистому полю, через канавы и ручьи, а в пяти метрах от нас на полной скорости неслись по отличному гудрону машины.

Не доезжая Змеиногорска, увидели вдали синеватые силуэты странных скал. Казалось, что их выточил какой-то безумный мастер. Подъехали ближе. Вокруг нас — исполинские каменные истуканы. Одна скала напоминает лежащего верблюда, другая — громадную раскрытую раковину, третья — человека с огромной головой, четвертая — орла с распростертыми крыльями.

На этих скалах ничего не растет. Наверное, здесь живут только змеи и ящерицы. Но откуда-то приле-

тают голуби, белые и нежные, как посланцы других, благодатных мест. Они вперевалочку ходят по дороге, полощут в лужах свои коричневые клювики, а когда мы подъезжаем ближе, плавно взмывают в воздух и летят впереди, будто зовут нас в те края, откуда прилетели сами.

За этот день проехали 53 километра. Ночуем в Змеиногорске.

30 июля

Эту запись делаем уже в Казахстане, в селе Верхубинке. Раннее утро. Дождя нет.

Глядим на карту и приходим в отчаяние: мы проехали только 6 239 километров, одну союзную республику, а впереди еще все остальные, впереди 13 000 километров.

13 000 километров!

А послезавтра уже август.

— А 3 сентября младшая сестренка будет ждать меня в Ленинграде.

— А 1 сентября кончается отпуск.

— А 5 сентября у нас не останется ни копейки денег.

Что же делать?

— Гнать! — говорит младший, не подумав. — Гнать на полной скорости!

«Но если мы будем гнать на полной скорости, — думает старший, — то мы ничего не увидим: ни городов, ни строек, ни людей, ни жизни. С таким же успехом можно проехать все это расстояние в поезде». Так он думает и смотрит на мотоцикл, который стоит на дороге, облепленный засохшей грязью, с пробитым картером, с царапинами и шрамами, но готовый по первому нашему желанию вновь зареветь и рвануться вперед — в болота, в горы, в пески... И еще он смотрит на маленький выцветший и как бы изъеденный ветром красный флажок над рулем и на ветровое стекло с надписью. На этой надписи наш маршрут, наше обязательство, вызывающее такое недоверие шоферов («На этой-то тархтелке?») и такое довер-

чивое и завистливое восхищение всех мальчишек — наших маленьких верных друзей, дававших нам разносторонние советы, указывавших дорогу и всячески старавшихся нам помочь.

И старший тоже принимает решение:

— Гнать! Гнать на полной скорости.

Алексей Ковалев думает долго и сосредоточенно, а потом говорит:

— Тринадцать тысяч километров за тридцать дней — это четыреста с лишним километров в день. Не проедем!

— Так погляди на карту, — говорим мы, — от Баку до Ленинграда — асфальт.

— А до Баку?..

Алексей Ковалев опять долго думает и соглашается:

— Ну что ж, гнать так гнать. По существу, я мог бы здесь путешествие и закончить. Я, кажется, все-таки понял, в чем всеобщее счастье. Пожалуй, оно в том, чтобы вот так, как мы, вместе толкать мотоцикл, вместе мокнуть под дождем, чтобы знать, что всюду друзья, что все помогут, что никто не обидит... А может быть, мне только кажется, что я нашел истину? Может быть, счастье не в этом? Я где-то читал...

И он обстоятельно пересказывает все, что когда-нибудь читал о счастье.

Мы пытаемся его прервать, но когда Алексей Ковалев ищет истину, прервать его невозможно.

— Нет, так мы и к Новому году в Ленинград не вернемся, — говорит младший. — Если уж решили гнать, так давайте гнать! — и он заводит двигатель.

Мы садимся на мотоциклы и с этого момента начинается наше стремительное возвращение в Ленинград по дорогам четырнадцати союзных республик.

МЫ МЧИМСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РЕСПУБЛИК

В начале сентября вернуться в Ленинград нам не удалось. Вернулись только в середине сентября, но и для этого пришлось гнать, нигде не задержи-

ваясь, ничем не отвлекаясь, останавливая мотоциклы только для несложного путевого ремонта и короткого ночного отдыха.

И в памяти остались только блики, яркие многоцветные пятна, будто стлался перед нами громадный ковер — прекрасный ковер нашей Родины.

Казахстан встретил нас ясным небом и солнцем. Мы переночевали в большом промышленном городе Усть-Каменогорске, в новой красивой гостинице, против которой бил фонтан, окруженный гроздьями белых фонарей.

Сразу за Усть-Каменогорском шоссе ушло в горы, оно поднималось все выше, склоны были покрыты стройными пихтами и елями, навстречу несся звонкий горный поток. В самых живописных ущельях пели пионерские горны — там были построены дачи для ребят.

Серпентины становились все круче, горы величественнее, и вдруг за поворотом открылся Иртыш и на его берегу — новый город. Там, где громадные серые утесы сжали стремительную реку, мы увидели плотину высотой почти с Исаакиевский собор и переплетение железных конструкций, озаренных вспышками электросварки.

Плотина перегородила ущелье, она как бы упиралась плечами в утесы, будто пытаясь раздвинуть их. На электростанции уже собрали турбины, но стены еще не были построены, вместо стен были мокрые глыбы скал.

Взрывы в горах, грохот камнедробилок, рев дизелей, шум бешеного потока, низвергающегося с плотины, величие природы и величие человека — такой нам запомнилась комсомольская стройка Усть-Бухтарминской ГЭС.

Через день мы были уже за Жангиз-Тобе, среди неоглядных степных просторов. Шоссейной дороги здесь нет, только железная дорога. Ехали вдоль рельсов, то справа от них, то слева, выбирая где посуше, где получше, где больше понравится.

Несколько дней перед нами в бесцветной дали виднелись горы. Пока приближались к ним, они ста-

новились все ниже. Минуешь одну зубчатую гряду, а за ней открывается новая. Степь здесь холмистая, серая, мертвая. Ни дерева, ни яркого цветка. Только полынь, ковыль и колючки.

Иногда встречали седые проплешины солончака, они сверкали под солнцем, будто посыпанные снегом. Иногда объезжали голубые соленые озера с красноватыми берегами — как глаза с воспаленными веками.

В этой полупустыне было одиноко и тоскливо, и мы радовались, когда вдруг из ржавого ковыля вылетала на дорогу маленькая нарядная птичка. Она порхала перед нами пестрым комочком, после каждого взмаха крыльев как бы проваливаясь в ямки. Она долго летела перед мотоциклом и отрывисто звонко посвистывала, а потом, мелькнув на прощанье пестрым пушистым хохолком, опять скрывалась в ковыле.

Селения встречались редко. Ночевали на железнодорожных полустанках. Железнодорожники рассказывали о своей суровой жизни — о снежных метелях и волках, о сильных ветрах и недостатке пресной воды. Они получали надбавку к зарплате, как жители Заполярья.

Однажды заблудились. Объезжая солончаковые топи, потеряли из виду железную дорогу и оказались среди однообразных холмов. Холмы были со всех сторон, мы не знали, в какую сторону ехать. Уже под вечер наткнулись на огару овец и чабана. Каким большим в степи кажется человек, особенно на лошади — как дерево. Его видно издалека. У казаха был добрый приплюснутый нос, широкие коричневые скулы и редкая седая борода. Он, по-видимому, был очень стар. Из-под меховой шапки на нас глядели глаза, привыкшие глядеть в даль.

— Аягуз — туда! Айгыржал — туда! — показал он.

— Хорошо жить в степи? — спросили мы.

Он радостно закивал головой:

— Да! Да!

— А не скучно в степи одному?

Он опять радостно закивал головой:

— Да! Да!

И мы поняли, что интервью не получится.

В тот же день встретили две машины, груженные пестрым веселым грузом. Когда увидели, даже не поверили, подумали: «И такой мираж, наверно, бывает!» Но оказалось, что это не мираж. В машинах пели девушки. Их было много (трех парней мы сначала даже не заметили).

— Откуда, девушки?

— Из Ленинграда. На уборку. А вы?

Только пять минут стояли мы возле машин, а запомнились нам эти девушки на всю жизнь: и черненькая Нина из медицинского института, и маленькая Таня с «Электросилы», и та, с двумя косами, что живет на Малой Охте, и та, которая просила передать привет ее маме, так как мы вернемся в Ленинград раньше.

Большим кажется каждый человек в степи, и zapomинается он надолго. Селения тоже. Они возникали вдаль, как сказочные города, а подъедешь ближе — обыкновенный сельский поселок с новыми белыми домиками, с клубом, школой, магазином. Здесь живут недавние кочевники. Они еще не привыкли ни к садам, ни к огородам, и стоят на голой земле дома, как юрты. Только возле школы обычно посажено несколько яблонь — первые деревья, посаженные руками степных наездников.

В учебниках географии эти места называются полупустыней. Мир здесь скуден, однообразен и лишен красок. Но, переехав какую-то невидимую грань, мы оказались среди ярких полотен хлебных полей. Звенели ручьи, пели птицы в рощах, вокруг домов цвели сады, огненные помидоры пылали на грядках.

— Что это за благодатный край? — спросили мы.

— Это Урджарский целинный совхоз, — ответили нам. — Еще семь лет назад здесь не было ни полей, ни деревьев, ни воды.

Не доезжая китайской границы, свернули к озеру Алаколь, которое два года назад вдруг вышло из берегов и стало подниматься, затопляя поля, дороги и

рыбачьи поселки. Ехали среди камышей, как в лесу. Пушистые метелки шелестели над нашими головами будто кроны деревьев. Тяжелые пеликаны меланхолично парили над болотами.

За Алаколем громадной стеной возвышался Тянь-Шань. Много дней потом мы огибали эту стену, увенчанную снежными вершинами.

Два дня ехали по Семиречью. Богатые села стоят здесь в тени высоких тополей и яблоневых садов. Хлебные поля расстилаются необъятными коврами разных оттенков золота — от червонного блеска до нежнейшего цыплячьего пушка. И все здесь насыщено изобилием, щедростью земли и неба.

В те дни шла уборка урожая. Над полями клубилась солнечная пыль — это комбайны убирали и молотили пшеницу. Они медленно ползли, окруженные свитой грузовиков, которые подставляли свои кузова под струи зерна.

Полевые станы были украшены красными полотнищами. Там женщины варили обеды, на дощатых столах лежали газеты и журналы, слесари ремонтировали машины. По дорогам шли караваны грузовиков с пшеницей. Возле элеваторов грузовики толпились, как на ярмарке. Здесь были открыты киоски с лимонадом, столовые для шоферов, милиционеры-регулировщики выстраивали машины в очереди.

За Талды-Курганом началось благоустроенное асфальтированное шоссе. Оно шло через весь южный Казахстан, через Киргизию, Узбекистан, до самых кара-кумских песков. И когда началось это шоссе, мы поняли, что змей, пожалуй, так и не увидим. А встречи со змеями мы ждали от самого Усть-Каменогорска. Там какой-то развязный и болтливый шофер рассказывал:

— Еду я как-то в Алма-Ату. Уже темновато стало. Вечер. Закат. И стоп! Отказал мотор. А над самой башкой камни как морды — красные, здоровые. А с этих камней — змеи веревками. Пасти пораздвинули и шипят. «Ну, — думаю, — привет! Отъездился». Хорошо сообразил: в кабине стекла позадраил. «А теперь шипите, — думаю, — гады!» Тогда нас

три машины было. Один друг поседел, другой зайкой стал, ну, а я легким испугом отделался. Змей там пропасть — они на закат ползут ну прямо пачками.

Мы просили указать точнее, где находится змеиное место. От отвечал:

— А кто его знает! Поедете, сами увидите. Его не миновать.

Вот мы и ждали этого места. Разрабатывали планы, как будем бороться со змеями. Старший говорил: «Не останавливаться! Ни одна змея не догонит». Младший сделал хлыст из проволоки и привязал его к рулю. А Алексей Ковалев уверял, что всякую змею можно уговорить. «Ведь музыку змеи слушают, — рассуждал он, — значит и речь тоже на них должна подействовать».

Уже перед самой Алма-Атой спросили:

— Где же здесь змеи?

— Змеи? — ответили нам. — Да в зоосаде. Где же им быть еще?

Так змей мы и не увидели. Зато увидели «корабли пустыни» — верблюдов. Они не шествовали важно и степенно, как полагается верблюдам шествовать по пустыне. Они бежали по асфальту резвой рысью, подбрасывая на своих спинах волосатые горбы, похожие на пустые торбы. Их длинные изогнутые шеи были вытянуты как носики чайников, а морды у них маленькие, мудрые и старые.

В верблюдах есть что-то доисторическое. С каким презрением к нашему времени они шлепали своими длинными мокрыми губами, с которых свисали жесткие колючки.

— Хоп! Хоп! — кричал толстый чабан, взмахивая хлыстиком.

Он сидел на низкорослой лошаденке, величественный и невозмутимый. Несколько пестрых халатов, надетых один на другой, обтягивали его живот, и от этого чабан был неповоротлив, как памятник. На его бритой голове была фетровая шляпа, а из-под шляпы виднелась яркая тибетейка.

— Хоп! Хоп! — негромко покрикивал он, окруженный резвыми верблюдами.

— Здравствуйте, — сказали мы, — салам алейкум. Он посмотрел на нас сверху вниз, как Чингисхан посмотрел бы на жалкую черепаху и снисходительно кивнул головой.

— Постойте, — сказали мы, — можно вас сфотографировать вместе с верблюдами?

Он опять снисходительно поглядел на нас и, натянув поводья, принял позу Юрия Долгорукого, каким тот изображен в Москве на улице Горького.

А верблюды тем временем убежали вперед.

Мы включили скорость и погнались за ними.

Памятник неторопливо гарцевал сзади, покрикивая нам:

— Хоп! Хоп!

Когда мы нагнали быстроходные «корабли пустыни», чабан опять стал не спеша принимать позу Юрия Долгорукого, а верблюды снова убежали вперед.

«Чего они торопятся? — подумали мы. — Может быть, чувствуют близость оазиса?»

И мы спросили:

— Куда они бегут?

— На мясокомбинат, — ответил памятник достойно и важно.

Так мы и не понимаем до сих пор, почему эти величественные животные, неторопливо шествующие в караванах, бегут на убой, как резвые жеребята.

В Алма-Ате мы были всего одни сутки. Как нам не хотелось оттуда уезжать! Как это было трудно! Гостеприимные казахские товарищи поместили нас не в гостинице, а в чудесном доме отдыха, расположенном высоко в горах.

Весь день мы лежали в яблоневом саду, на траве под деревьями. Над нашими лицами свешивались тяжелые ветви с яблоками. Яблоки были большие и звонкие, озаренные нежным румянцем. Стоило приподнять голову или протянуть руку, и мы чувствовали их прохладное прикосновение. Наверное, в таком саду жили Адам и Ева и этот сад назывался раем.

А вечером мы смотрели на землю. Горы вокруг нас громоздились, как облака. Земля лежала далеко внизу громадной равниной. Сначала она была голу-

бой, потом над ней разлилась синева, потом она погрузилась в ночной мрак, и у самого подножья гор вспыхнуло кипящее сверкающее озеро. Это зажглись огни в городе. Каждый огонек был отдельным, живым, трепещущим и неотделимым от всей кипучей играющей массы огня. Это незабываемое зрелище. В огненном кипении города было столько страсти, ликования, торжества жизни, оно так отличалось от мертвого мрака равнины и черных глыб гор, что мы поняли бедняг-ангелов и других небожителей, которые не могли усидеть у себя на небесах и спускались на землю к людям.

От Алма-Аты до Фрунзе коляска нашего мотоцикла была до краев набита яблоками. Яблоками были набиты и все наши карманы. Яблоки мы ели на ходу, рискуя жизнью, так как руль приходилось держать одной рукой — в другой руке было яблоко.

Столицу Киргизской республики Фрунзе проезжали вечером и запомнили только зеленые аллеи улиц, карнавольно освещенные неоновым светом.

За Фрунзе одно за другим, почти непрерывно тянулись вдоль шоссе богатые села колхозов и совхозов с большими двухэтажными клубами.

С гор бежали и растекались по арыкам шумные реки. Жаркий туман приближал горизонт. В первую половину дня солнце неистово жгло наши спины, а с обеда оно все время было впереди, как желтый огненный паук, колющее, безжалостное и неподвижное.

Хлеб был уже убран. Поля лежали томные, усталые и гордые. По отличному шоссе мчались автобусы-экспрессы: Алма-Ата — Джамбул, Алма-Ата — Чимкент, Алма-Ата — Ташкент.

Когда в Ленинграде мы разрабатывали маршрут нашего путешествия, то от Фрунзе предполагали ехать по новому высокогорному шоссе к городу Ош. Мы слышали, что такое шоссе строится.

Киргизия — страна гор. Южные районы республики отрезаны от столицы неприступными хребтами Тянь-Шаня. Об автомобильной дороге через горы

здесь мечтали давно. Первый раз ее начали строить еще тридцать лет назад. Шестьдесят тысяч колхозников вышли тогда в горы с лошадьми и телегами, но пробиться через перевалы не могли — снежные лавины, камнепады, весенние паводки уничтожали все, что успевал сделать человек. Вскоре после войны наметили новую трассу, и опять в горы вышли тысячи строителей. На этот раз удалось провести узкую дорогу через перевал Тюя-ашу (Верблюжья тропа). Его высота 3586 метров. Но дорога оказалась ненадежной — сверху, со скал, падали на нее камни, стремительная горная река Карабалты сносила мосты. Провести машину по этой дороге могли только смельчаки, а в зимние месяцы даже смельчакам не удавалось преодолеть острого, как нож, скалистого перевала.

В 1958 году приступили к строительству дороги в третий раз. На помощь людям пришла новая техника. Там, где раньше работало 5000 человек, теперь было только 400 человек и 79 машин (бульдозеры, грейдеры, самосвалы). Московские метростроевцы пробили под перевалом, на высоте 3200 метров, тоннель. Два с половиной километра дорога идет под скалами и выходит из тоннеля на другом склоне хребта.

И вот мы отправились по этой новой дороге. Во Фрунзе нас предупредили, что строительство шоссе еще не закончено и проехать нам вряд ли удастся. Но мы все-таки решили попробовать.

Сначала ехали по Карабалтинскому ущелью. Глубина его — почти километр. Отвесные скалы круто поднимались вверх. Пенистая Карабалтинка, грохоча камнями, билась в бетонные опоры новых мостов. Дорога перепрыгивала с берега на берег, доверчиво прижималась к скалам, осторожно соскальзывала к самой воде, иногда вползала в узкие щели. С одной стороны были брызги и пена, с другой — желтые осыпи и нависшие камни. Чтобы дорогу не размыло водой, со стороны реки ее защищали каменные шпоры; чтобы не завалило камнями, осыпи были укреплены высокими и прочными стенами.

Подъем все круче, все сильнее холодный ветер, все ближе скалы, покрытые снегом.

Из одного ущелья попали в другое, потом и оно ушло в сторону и перед нами возник крутой склон исполинской горы. На нем можно было различить несколько горизонтальных пунктирных линий, одну над другой. Это охранительные столбики нового шоссе. Ехали по узким карнизам все выше и выше. Как птичье гнездо, прилепился к скалам маленький поселок строителей. Один дом разрушен — недавно его раздавило снежной лавиной. Шоссе повернуло к тоннелю. Тоннель еще не закончен — перед нами был опущен шлагбаум. Мы поднимались на перевал по старой дороге. Она засыпана камнями и такая узкая, что на крутых поворотах автомашинам приходится несколько раз давать задний ход, маневрируя на крохотной площадке, окруженной пропастью.

На самой вершине перевала остановились. Теперь уже не над собой, а под собой видели скалы и белые от снега ложбины. Было холодно, между скал застряли клочья облаков.

Вместе с нами ехал начальник дорожностроительного района Арсений Алексеевич Краснов.

Он рассказывал о пятидесятиградусных морозах, которые свирепствуют здесь зимой, о машинах, которые срываются с обледенелой дороги в пропасти, о бешеной силе реки во время паводков. Однажды река полностью разрушила один из участков строительства и горсточка людей осталась отрезанной в горах без света, без горючего, без пищи. Тогда двое юношей и девушка взвалили на плечи тяжелые рюкзаки с продуктами и отправились выручать товарищей. Они никогда прежде не были альпинистами, но теперь карабкались по склонам, где пробираются только горные козлы и снежные барсы. И они принесли товарищам хлеб, горючее и дружбу.

Строители горных дорог похожи на пилотов. Под ними земля, под ними облака, под ними птицы. И, может быть, поэтому Арсений Алексеевич во время войны стал летчиком, а после войны занял одно из первых мест на всесоюзных соревнованиях по выс-

шему пилотажу. Ему сорок четыре года. Из них восемь лет он летал и восемнадцать лет работает на изысканиях и строительстве дорог в горах Тянь-Шаня. Всю жизнь он живет как орел — в высоте. Мы сфотографировали его на память. И на снимке он похож на орла — невысокий, сухой, с резко очерченным профилем, он стоит на вершине перевала, а вокруг него громадное безоблачное небо, а под ним клочки облаков и снежные скалы.

Ночевали в жилом вагончике строителей в Сусамырской долине, а утром отправились обратно, так как выяснилось, что дальше не проехать: впереди перевал Алабель, на котором побывали пока еще только изыскатели трассы.

Вечером вернулись к подножью гор. В вечерней знойной долине лежали поля, по ровному шоссе мчались автобусы, и когда мы поглядывали на снежные вершины, не верилось, что еще утром мы были там, среди снега и скал; но к рулям наших мотоциклов были привязаны букетики маленьких горных цветов эдельвейсов.

Ташкент нас встретил неистовой щедростью солнца, цветов, фруктов. Рядом с эдельвейсами появились на рулях наших мотоциклов нежные ташкентские розы. Мы знали: они не вынесут встречного ветра и дорожной тряски, но в них было столько грации и прелести, что мы не могли удержаться и взяли их с собой. А когда поехали дальше, шелковистые ароматные лепестки порхали вокруг нас яркими бабочками и садились за нами на асфальт.

За Ташкентом долго тянулись фруктовые сады и темно-зеленые квадраты хлопковых полей. В колхозных поселках много автомашин и мотоциклов, маленькие ишаки важно тащат огромные корзины с фруктами, в открытых чайханах играют радиолы. Было очень жарко, и мы останавливались в каждой третьей чайхане, садились на помост, застеленный ковром, и не спеша, как здесь принято, пили из широких пиал горячий зеленый чай.

Проехав Сыр-Дарью, сначала не заметили особой перемены — тот же хлопок, те же огненные по-

мидоры в зелени листвы, только фруктовые деревья потоньше и селения поновей. С удивлением узнали, что началась Мирзачуль — Голодная степь. Веками эти земли были мертвыми — здесь ничего не росло, здесь не было воды. Только пыль и соль.

Мы увидели эту мертвую степь за новым городом Янги-Ер, направляясь к таджикскому поселку Шахристан. Земля здесь была желтая, чуть красноватая, в шрамах и трещинах. Рыжей жесткой щетиной торчали колючки. Жаркий воздух над землей как бы покачивался; он был насыщен пылью, и солнце от этого казалось темно-коричневым, а вокруг него дрожали и расходились радужные кольца.

И вдруг в полном безветрии в колючей и знойной пустыне возник спиралеобразный столб пыли. Он быстро рос, основание его ширилось, на вершине появилось маленькое облачко, оно разлохматилось и как бы растаяло в дымном небе, а смерч постоял на одной ноге великаном, передвинулся к дороге, побуравил землю у обочины, перемахнул через черный лоснящийся от жары асфальт и помчался по степи.

А потом увидели, что за стремительной спиралью бежит человек, размахивая руками. Он догонял смерч и не мог догнать, а когда винтообразный столб рухнул на землю, человек пошел к дороге. Мы подождали его. Оказалось, парень, серый от пыли, как черт.

— Насилу догнал, — сказал он, — смерч кепку унес. Недолго ему тут хозяйничать.

Парень был из Москвы. Приехал на Целинострой. Скоро и сюда будут проведены каналы, придет вода, скоро и здесь появятся хлопковые поля, сады и новые поселки.

В Самарканде ночевали на туристской базе. Она расположена в старом городе. Новый Самарканд весь в зелени, в садах, бульварах; там прямые улицы, зеркальные витрины, троллейбусы. Старый Самарканд — из сказок Шехерезады. Здесь кривые улочки и тупики, такие узкие, что наш мотоцикл с коляской едва в них протискивался. Вдоль таких

улочек сплошные глиняные стены без окон, мутные арыки и зеленые водоемы под чинарами. А над всем этим высокие минареты и купола, украшенные узорами мозаики и глазурью небесного цвета.

Прежде всего, конечно, пошли на базар, и базар ошеломил нас красками, ароматами и веселым шумом. На громадной площади грудами лежали арбузы и дыни, на открытых прилавках — корзины с виноградом, грушами, сливами, персиками; маленькими кострами пылал красный перец, струились разноцветные шелка; страстно кричали продавцы и покупатели, по радио передавали репортаж с футбольного поля, ревели ишаки — и над всем этим не смолкал густой тяжелый звон золотистых пчел, атакующих фрукты.

Вечером побывали в открытом кинотеатре. Демонстрировалась чехословацкая кинокомедия. На экране суетились и острили люди в шляпах и непромокаемых плащах, а над экраном высились тонкие призрачные минареты. В небе загорелась звезда, потом другая, третья, и вскоре все небо покрылось сверкающим бисером и над минаретами поднялся яркий серп месяца.

Когда смолкала музыка кинофильма, мы слышали надсадный крик ишака и далекое пение зурны. И мы не стали досматривать кинофильм, а пошли бродить по узким улочкам, где одна над другой громоздились плоские белые крыши, а в черных водоемах отражались звезды. Чайханы, оплетенные листвой, были освещены электрическими лампочками, как маленькие театральные сцены; там сидели, поджав под себя ноги, неторопливые люди в тюбетейках и пестрых халатах и дремали над пузатыми чайниками.

Когда выехали из Самарканда, коляска нашего мотоцикла была до краев загружена дынями и помидорами. На асфальте за нами оставался кровавый след помидорного сока. Было очень жарко. Все время хотелось пить. Младший из нас и Алексей Ковалев удовлетворяли жажду фруктами. Они ели их на ходу и передавали друг другу, даже не останавливая мотоциклов. А старший предпочитал чай.

Он просто не мог равнодушно проехать мимо чайханы и, пока не вливал в себя три-четыре чайника, его не интересовали ни памятники старины, ни всадники в белых чалмах, дремлющие на симпатичных сердитых осликах, ни вкусные шашлыки, уже издали оповещающие о себе ароматным чадом.

Приближаясь к Кара-Кумам, мы все больше беспокоились: на всех географических картах автомобильная дорога кончается у городка Каракуль. До города Мары дороги нет.

Нам задавали вопрос:

— Как вы поедете через пески?

Мы отвечали честно:

— Не знаем. Там видно будет.

А сами у всех спрашивали: как проехать?

В Новосибирске какой-то шофер сказал:

— Плевое дело. Я два раза пересек эти самые Кара-Кумы туда и обратно. Только водичкой запастись и жмите на всю катушку.

В Усть-Каменогорске уверяли:

— На мотоциклах не проехать, а на машине можно.

В Алма-Ате успокаивали:

— Машина там не пройдет, а мотоцикл где хочешь пройдет. Так что ничего не бойтесь.

В Ташкенте маститый узбекский писатель, благодушно попыхивая сигаретой, говорил укоризненно:

— Отстали вы, друзья, от жизни. Ой, как отстали! Там теперь великолепная бетонная автострада. Наши писатели на своих машинах на Кавказ ездят.

А невдалеке от Бухары, в маленьком городе Гиджуван, остановил нас инспектор ГАИ, толстый и черный. Жара была неистовая. Мы буквально сочились потом, как шашлыки сочатся жиром. Инспектор не спеша разбирал надпись на ветровом стекле нашего мотоцикла. Он тоже был мокрый, будто его вытащили из воды, но терпеливо стоял на самом солнцепеке, затянутый в мокрый белый китель и по складам читал надпись.

Это продолжалось очень долго. Сколько мы ни

умоляли его ускорить чтение, он только поднимал перед нами свою волосатую руку и спокойно говорил:

— Не спеши. Чего спешишь? Жена рождает? — И, обтерев рукавом лицо, принимался разбирать надпись с самого начала.

Когда, наконец, он понял, что мы собираемся проехать в Мары, он сказал уверенно и весело:

— Мотоцикл веди на базар, покупай ишака.

Но мы не поехали на базар менять мотоцикл на ишаков, а продолжали свой путь.

Хотя мы знали, что находимся на краю пустыни, но никаких признаков пустыни еще не замечали. Шоссе вело вдоль реки Зеравшан. Арыки были наполнены водой. Хлопковые поля окружали беленькие поселки, утопавшие в зелени садов.

На всю жизнь запомнится Бухара, где почти фантастически сочетались два мира: старинные минареты и неоновые рекламы, древние своды над перекрестками и щеголеватые автомашины, безвкусная роскошь эмирского дворца и корпуса новых заводов.

За Бухарой кончился асфальт, бледнее и реже стала зелень, на горизонте появилась какая-то тяжелая муть. Дорога стала мягкой точно перина, колеса разрезали пыль, как воду, и мы плыли по белой сыпучей реке.

А за городом Каракуль все кончилось сразу: последний арык, и последнее дерево, и след колеи на дороге, и сама дорога. Остались только нещадный зной, сыпучий песок и солнце, распластанное по всему небу.

От солнца некуда было деться. Оно разлилось по песку, наполнило воздух, сжало нас своими горячими лапами. Мотоциклы, как загнанные лошади, выбивались из сил, задыхались, и когда мы выключали зажигание, чтобы остыл цилиндр, перегретый мотор продолжал работать, вздрагивая всем корпусом.

С каждой минутой ехать становилось труднее. Колеса вязли в песке. Пустыня лежала перед нами раскаленным океаном, барханы были как застывшие волны. А на гребнях волн рос корявый черный саксаульник — без листьев, без движения, без жизни.

Станция Ходжа-Давлет возникла перед нами, как мираж: несколько белых домиков, черный семафор и крохотный клочок яркого зеленого мира. Среди желтого однообразия песка с тропической пышностью росли цветы, кукуруза, на грядках лежали исполинские арбузы и дыни. Как они выросли на этом сухом горячем песке?

Это объяснил нам начальник станции Юсуп Халыев, неторопливый полный человек, с добрыми сонными глазами.

Здесь никогда ничего не росло. Ветер заносил песком платформу, пути и здание. Воду привозили поездом. Вырастить хотя бы одно деревце, хотя бы один зеленый куст пробовали все, кто жил на этой станции. Но это никому не удавалось. Солнце выжигало, а песок заносил ростки. Удалось только Юсупу Халыеву, в прошлом году назначенному сюда начальником станции.

В конце зимы он попросил прислать ему цистерну воды и разлил воду возле станции. Ранней весной, когда ледок только-только оттаял и влага еще не успела уйти в грунт, он закопал в песок несколько зерен кукурузы, несколько клубней цветов и семечек подсолнуха. Он не верил, что из этого что-нибудь получится. А потом заметил бледно-зеленые язычки всходов. С каждым днем из песка выбивались все новые ростки. Человек делился с ними питьевой водой. Так все началось.

Теперь маленький Ходжа-Давлетский оазис, в котором нет ни колодца, ни родника, ни арыков, славится по всей дороге.

Гостеприимный хозяин принес нам с грядки самую большую дыню. В ней килограммов двадцать, не меньше. Ее спелая мякоть продавливалась пальцами. Мы разрезали дыню на длинные тонкие ломти, такие ароматные, сладкие и сочные, что было совершенно непонятно, как сухой раскаленный песок и безвкусная теплая вода, которую накачивают из водонапорной башни в паровозы, могли произвести на свет этот солнечный плод.

Удовлетворив жажду дыней и чаем, мы отправи-

лись дальше. Но дальше можно было ехать только по шпалам.

Юсуп Халлыев посмотрел расписание поездов и выбрал для нашей поездки такое время, когда пути свободны. Чтобы защитить нас от справедливого штрафа, он отправился вместе с нами до Чарджоу. Но, проехав, вернее пропрыгав по шпалам метров триста, мы поняли, что наши выдавшие виды мотоциклы еще до Чарджоу рассыплются на части. А им еще предстояло пройти немалый путь — больше десяти тысяч километров. Пришлось вернуться на станцию, а там погрузиться на поезд.

Туркмению мы проехали частично в поезде, частично своим ходом. Запомнились только раскаленный песок, раскаленное небо и солнце, похожее на огромное огненное яйцо, и верблюды, чем-то напоминающие огромных птиц — страусов, что ли... Одним из самых чистых и благоустроенных городов, которые мы встретили в путешествии, показался нам белоснежный город Небит-Даг, построенный среди клыкастых скал и мертвых песков. Он борется за звание города коммунистического труда и быта. И еще нам запомнились синие просторы воды с рыбачьими баркасами — высокие мачты покачивались в дрожащем от зноя воздухе; стога сена стояли на берегу. А когда мы приближались, все это растекалось в зное — и снова только песок, и колеблющийся воздух, и мутное небо.

МЫ МЧИМСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РЕСПУБЛИК

(Продолжение)

Из Красноводска в Баку переправились вместе с мотоциклами на теплоходе. Прекрасную столицу Азербайджана пересекли не останавливаясь, а когда поднялись в гору и оглянулись назад, увидели, что громадный город лежит на берегу моря гигантской подковой, а вокруг него лес, какого, наверное, нет нигде в мире. Лес нефтяных вышек. Вышки обступили

ля со всех сторон жилые дома и заводы, расположились островами среди моря, возвышались над крышами домов в центре города. Они были властные, гордые, и в каждой из них был какой-то небрежный росчерк, стремительный зигзаг, молнией взмывавший вверх.

Весь день ехали по Азербайджану.

Удивительные растения подарила людям земля. Как это раньше мы не дивились такому чуду, как гроздь винограда, гроздь прохладных, припудренных нежной пылью, маленьких, хрупких сосудов, наполненных небесным соком? А хлопок? Растет на земле куст, висят на нем зеленые шарики, и вдруг они раскрываются и остаются на кусте клочки ваты — шелковистой белоснежной ваты, ласковой, как шерсть котенка.

За городком Казахом свернули к Еревану. Шоссе сразу стало взбираться на крутой подъем. Города в Армении как альпинисты. Одни карабкаются по склонам гор, другие отдыхают в долинах. Город Дилижан карабкался по лесистому склону горы. Дома с красными черепичными крышами сложены из больших камней, увиты плющом и диким виноградом. В воздухе аромат цветов, синева неба, отблеск снежных вершин. Над витринами магазинов и открытыми кафе — парусиновые стенды. Над женщинами — пестрые зонтики. От этого празднично и нарядно.

Мы проезжали Дилижан 2 сентября, в тот час, когда кончились занятия в школе. Вдруг будто кто-то разбросал по улице яркие цветы. Это выбежали из школы дети. Повсюду замелькали черноволосые головы, белые передники, красные пионерские галстуки. И стало еще веселее и праздничнее.

От Дилижана начался Семеновский перевал. Дорога сначала шла среди густого леса, потом вырвалась на голый склон горы. Альпийские луга уже были скошены, и по ним разбрелись приземистые копешки сена. Навстречу нам тихо, будто на животе, сползали автобусы и машины. А мы поднимались все выше, к громадному небу. Вместе с нами взбирались на перевал длинноногие опоры высоковольтной сети

и, точно бурлаки, тянули на своих плечах тяжелые, серебристые от солнца провода.

Ночь провели на берегу Севана, на туристской базе. Мы оказались как бы в громадной голубой чаше. На дне этой чаши — стеклянная неподвижность озера, а со всех сторон крутые горы. Горы были ребристые, морщинистые, колючие, и в одном месте с вершины ползла вниз лавина пенистых облаков.

Пока ужинали, стемнело. Горы сдвинулись теснее, они стали величественнее и враждебнее. В вечернем небе зажглись тяжелые звезды. Они отражались в озере — будто там еще одно небо.

На туристской базе были разные люди. Был студент из Литвы, светловолосый, очень молодой, застенчивый. Он всю зиму откладывал от стипендии, чтобы поехать по Советской стране. И вот он здесь, у Севана, один, почти без денег, но очень довольный. Были здесь и молодожены, оба инженеры, из Ленинграда. Она — тоненькая, хрупкая, в очках, а он — плечистый красавец, спортсмен. Они мало обращали внимания на горы и озеро, а все смотрели друг на друга. Отдыхали здесь еще две старые учительницы из Тулы. Уже после нас появился молодой грузин с франтоватыми усиками. Он приехал на своей машине из Тбилиси с громадным рюкзаком, украшенным значками, с чемоданом огненного цвета и блестящими термосами трехлитровой мощности.

После ужина все собрались в комнате отдыха. Под звуки нежных и скрипучих инструментов танцевал немолодой армянин. Он плавно вытягивал то одну руку, то другую, невесомо и ласково проплывал по кругу, как бы манил куда-то и завлекал.

Были в его танце грусть и вкрадчивость. У него грузная фигура, немолодое лицо с невыбритой щетиной и добрые самозабвенные глаза. Он плыл и плыл, вытягивая то одну руку, то другую, и каждое его движение было исполнено достоинства, сдержанности и значительности.

Но вдруг откуда-то из-за спин музыкантов выпрыгнул молодой высокий парень с длинными ногами, с тонкой талией и черными отчаянными усами.

Он что-то крикнул музыкантам, и внезапно вспыхнула барабанная дробь, сменился ритм музыки, а молодой танцор привстал на цыпочки, поднял вверх обе руки с опущенными длинными пальцами, как будто держал две тяжелые грозди винограда, застыл так на несколько секунд и понесся по кругу.

Все ему хлопало, выкрикивая какое-то непонятное короткое и радостное слово, и было это непонятное нам слово таким точным и так сливалось с этим огненным ритмом, что мы тоже стали выкрикивать его и хлопать в ладоши и почувствовали себя такими же счастливыми, гордыми и откровенными, как этот танцор.

И вдруг открылась нам вся пьянящая поэзия виноградной грозди, все миролюбие, сердечность и детская доверчивость талантливой армянского народа.

В Ереване прекрасно все — очертания новых домов, нежные краски камня, из которого они построены, синее небо и легендарный Арарат... Мы увидели Арарат не на земле, а в небе. Где-то почти в самом зените, в дымчатой пелене знойного неба, чуть заметно был очерчен геометрически точный конус. Сначала мы подумали, что это облако, потом заметили какое-то сияние. Это был снег на вершине Арарата.

Ереван покорила нас своим гостеприимством. Здесь мы поняли высокое значение слова «гость». Стоило узнать людям, что мы приехали из Ленинграда, как нас окружала трогательная забота. Армянский писатель Рафаэль Арамян сопровождал нас всюду и всем говорил:

— Это гости!

Два молодых журналиста, случайно узнав о нашем маршруте, стали почетным эскортом: они ехали перед нами на своих мотороллерах, и стоило нам остановиться, они первыми соскакивали с мотороллеров и тоже всем говорили:

— Это гости!

Сопровождаемые магическим словом «гости», мы три дня ездили по Еревану и Армении. Нам показывали все лучшее, что здесь есть. Мы увидели точнейшие автоматические приборы, которые изготавливают

молодые инженеры и рабочие нового промышленного города Кировакана, побывали на развалинах древнего храма Звартноц, любовались щедрыми колхозными полями Араратской долины. И всюду у нас спрашивали: не нуждаемся ли мы в какой-нибудь помощи, и предлагали чашечку черного кофе, или гроздь винограда, или бокал вина.

Здесь мы нарушили наш неизменный закон: в пути ни грамма спиртного. В институте виноградарства, виноделия и плодоводства нас долго водили по виноградникам, предлагая отведать от каждого куста, а потом угостили черным пряным вином.

— Такого вина, — сказали нам, — нет нигде в мире. Оно сделано из новых сортов винограда, выращенных армянскими учеными. Загляните в бокалы, и вы увидите там солнце.

Мы пили вино в беседке. Нас окружал зеленый полумрак. Но, заглянув в бокалы, мы увидели в них солнце.

Замечательный художник Ованес Асаторян, богатырь с львиной гривой черных волос, показал нам свои картины. Он вел нас по Армении, которой мы еще не знали. Она пылала закатами, горела огненными цветами и яркими травами. В ней были нежность и ликование.

Из Еревана нас не отпускали. «Вы еще не видели столько прекрасных вещей, — говорили нам, — задержитесь здесь, не обижайте». Нам очень не хотелось обижать чудесных людей Армении, но мы смотрели на календарь и приходили в ужас: младшая сестренка ждала в Ленинграде, отпуск Алексея Ковалева кончился, денег не осталось ни копейки — только долги.

Армянские художники собирались дать телеграмму младшей сестренке, чтобы она вылетела в Ереван, армянские виноделы предлагали написать письмо в Ярославль, чтобы Алексею Ковалеву продлили отпуск. Армянские писатели уговаривали взять у них денег в долг.

Мы уехали из Еревана тайком, рано-рано, когда все еще спали.

Дальше, до самого Ленинграда ехали без привалов, садились на мотоциклы, как только всходило солнце, а слезали с них уже поздней ночью.

Темпераментный Тбилиси успел только ошеломить вихрем уличного движения, роскошью центрального проспекта и живописностью старых домов, повисших над обрывами. Грузия осталась в памяти крутыми виражами лесистого Сурамского перевала, барашковыми спинами чайных плантаций, буйным озорством тропической зелени Колхиды и опорами высоковольтной сети — нашими неизменными спутниками. Они сопровождали нас от самого Ленинграда, через тайгу, через степи, пустыни и горы; они шагали вдоль дорог, неутомимые многорукие стальные пешеходы.

По Черноморскому побережью промчались за два дня. Десятого сентября проехали Новороссийск, мимо седых от цементной пыли заводов и одного из самых выразительных памятников Отечественной войны.

На высоком берегу Цемесской бухты на бетонном постаменте стоял скелет железнодорожного вагона. Его проржавевшие ребра были изрешечены пулями, искривлены, перебиты, покорежены. Этот вагон оставлен здесь навечно в напоминание о борьбе советских людей с фашизмом. В этом месте наша армия преградила путь фашистам на кавказское побережье Черного моря. 360 дней здесь велись непрерывные бои, но советские люди не отступили.

В ту же ночь мы приближались к переправе через Керченский пролив. Пробивали темноту, как стену. Перед нами все время плясало небольшое бледное пятно — это фара мотоцикла освещала дорогу. Дорога неслась навстречу черными колеями и провалами. В пятне света россыпью искр кружилась мошкара. А кругом — мрак и светящиеся точки. Они над нами — это звезды. Они по сторонам — это деревни. Они впереди — это встречные машины. И позади все время одна яркая точка — это едет за нами Алексей Козалев. Когда он догонял нас, фара его

мотоцикла горела воинственно, как глаз циклопа. Когда отставал — становилась затерянным в ночи светлячком.

Ехали по длинной и узкой косе, вдоль железнодорожных рельсов. Справа было море и слева море. Справа — Азовское, слева — Черное. Воды в темноте не видели, только слышали тяжелые накаты волн, будто вдохи и выдохи огромных легких. А кругом по-прежнему — светящиеся точки: звезды, маяки, сигнальные огни кораблей.

Дорога привела к воротам порта. Там позвякивали буфера вагонов, тоненько посвистывали маневровые паровозы. У причала стояли два парома, «Северный» и «Южный». На «Северном» — красное полотнище: экипаж борется за звание экипажа коммунистического труда.

Зажглись зеленые огни семафоров. Пассажирский поезд подошел к причалу. С капитанского мостика парома раздалась команда. Четко и быстро работали сцепщики. На каждом пароме разместили по шесть вагонов. Цепями прикрепили их к палубам. Рядом с вагонами втиснулись и наши мотоциклы.

Опять короткая команда с капитанского мостика, и мы увидели, что стальные когти, которыми паром крепко вцепился в берег, стали подниматься. И рельсы как бы разломились — одна часть осталась на берегу, другая на палубе, а между ними — провал и вода.

Рассвет был холодный и хмурый. Из вагонов выглядывали заспанные пассажиры:

— Что за станция?

Поезд шел в Ленинград. Люди ехали в Ленинград. Мы глядели на их лица, и нам казалось, что мы с ними уже когда-то встречались, может быть на набережной Невы, может быть в Гостином дворе или в филармонии.

И вдруг у всех троих одновременно возникла одна и та же мысль, короткая, тайная, трусливая: через полчаса на станции Крым можно сдать мотоциклы в багаж, самим сесть в поезд, попросить у проводника постели, и через два дня будем дома.

Нам уже надоело каждое утро думать о бензине и каждый вечер искать ночлега. Мы устали от смены пейзажей и однообразного течения асфальта, мы пригляделись к мельканию городов и сел, мы были так пресыщены впечатлениями, что для новых впечатлений уже не было места, мы даже боялись их, чувствуя, как под их натиском блекнут яркие краски прежних встреч, волнений и открытий.

Так думали мы все порознь, покачиваясь на палубе парома, подминавшего под себя пенные волны двух морей. Но как только борт судна коснулся крымского берега и стальные когти снега вцепились в пристань, мы привычным движением завели моторы, и снова стали мелькать мимо нас города, новостройки, села; и снова неизменная забота о бензине, поиски ночлега и азартный счет километров.

СПАСИБО ВАМ, ИНСПЕКТОРЫ ГАИ!

Когда ранней весной мы выезжали из Ленинграда и осторожно пробирались в потоке встречных и попутных машин, младший из нас спросил старшего:

— Что вас больше всего пугает в предстоящем путешествии?

— Права! — сказал старший. — Больше всего меня пугает, что у нас могут отобрать права.

Действительно, водительские права может отобрать любой инспектор ГАИ. А мотоциклист без прав — все равно, что мотоцикл без колес — тут уж далеко не уедешь.

Водительские права достались нам нелегко. Для того чтобы их получить, надо уметь не только хорошо управлять мотоциклом, но и сдать экзамен по правилам уличного движения. Этот экзамен сдают в ГАИ, а экзаменаторы из ГАИ безжалостно «режут» за малейшую ошибку и нередко заставляют «пересдавать» по два, а то и по три раза.

Нашим учителем был совсем молодой милиционер. Его звали Толя. Он приезжал к нам на своем ми-

лицейском мотоцикле, привозил фанерные доски с начертанными на них перекрестками и маленькие игрушечные автомобильчики, трамвайчики, автобусы и троллейбусы. Он расставлял свой игрушечный транспорт на доске, а посреди перекрестка ставил на пола спичечный коробок, который обозначал милиционер-регулирующего. Мы должны были провести через этот перекресток весь скопившийся «транспорт». А если один из нас двигал неуверенной рукой маленький грузовичок, не замечая, что коробок-регулирующий дает «красный сигнал», Толя свистел в свой милицкий свисток так пронзительно, будто мы уже потерпели аварию и надо вызывать «Скорую помощь».

Три недели мы учили правила уличного движения. Учили их дома, в трамвае, в автобусе, на улице и в кино. И как только встречались, так сразу же вместо приветствия спрашивали: «Где запрещен поворот в обратном направлении?», или: «С какой скоростью можно выезжать на нерегулируемый перекресток?»

Толя был суровым учителем. Проверая наши знания, он говорил:

— Вы мне ничего не объясняйте. Объясняют, когда не твердо уверены. А вы мне шпарьте, как в книжке, чтобы все было слово в слово.

Мы переглядывались и думали: «Вот бюрократ несчастный. Ну, зачем нам знать слово в слово?»

Да, нелегко нам достались водительские права, и всю дорогу мы боялись, чтобы их у нас не отобрали за какое-нибудь нарушение правил.

Где бы мы ни ехали — в Сибири, в Средней Азии или на Кавказе — мы с опасением поглядывали на каждого инспектора ГАИ, который всегда внезапно вырастал перед нами на каком-нибудь перекрестке. И хотя мы не чувствовали за собой никакой вины, при виде инспектора нам почему-то хотелось вильнуть в сторону, спрятаться за другие машины или провалиться сквозь землю.

Но мы знали, что так же боятся инспекторов ГАИ и все другие водители. И поэтому ехали спокойно.

Одни машины обгоняли нас, другие мчались навстречу, третьи пересекали дорогу. А мы были всегда уверены, что ни один водитель не нарушит ясных и твердых правил автомобильного движения, что все они знают эти правила «слово в слово», как и мы, и не налетят на нас сбоку, не обгонят с правой стороны, не сделают левого поворота без предупреждения.

И постепенно в пути мы стали понимать, что нехитрая наука, которой научили нас милиционеры, это, по существу, великая наука о взаимной ответственности, о том, что наша жизнь зависит от внимания других, а жизнь других зависит от нашего внимания.

И нам захотелось сказать от всей души:

— Спасибо вам, инспекторы ГАИ!

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД

От Каховки до Кишинева наш путь лежал почти прямо на запад, и каждый вечер мы любовались закатом. Солнце опускалось на убранные поля, на бархатные сады, и под его лучами загорались, вспыхивали ярким пламенем отдельные деревья в садах и вдоль дороги. Но это был недолгий пожар, он затухал сразу же, как только гасла зари.

Где-то около Тирасполя мы однажды увидели, что солнце уже зашло, а на тоненьком невысоком клене остался маленький отблеск пламени. Каким-то чудом он не погас, а тлел и тлел в синеватом вечернем сумраке. А на следующий день мы увидели отблеск пламени после захода солнца и на могучем дубе, который рос возле дороги, и на акациях, и на каштанах. А потом и в садах мы видели клочки непогасшей зари, будто застряли они среди листьев, и горели там, и свисали гроздьями. И оно не гасло, это пламя в садах, а все разгоралось и разгоралось, и пожар не затухал. И мы поняли, что это осень.

За Киевом начались дожди. Мы достали из багажников прорезиненные куртки, которых не надевали от самого Алтая, и больше не расставались с ними

до конца пути. Все набухло водой и намокло. Нахохленные стояли дома и деревья, нахохленные люди глядели на нас из-под капюшонов, нахохленные тучи свисали над головами. И мы опять все посматривали на небо, с отчаянием и надеждой.

Небо! Оно всегда над нами. Где бы мы ни ехали. В лесу оно маленькое, как пятнышко. В горах оно низкое, кажется, протяни руку и достанешь. А в степи или в пустыне оно громадное и далекое.

Когда небо ясное, все вокруг становится ярким, дружелюбным, и нам тогда весело и хорошо. А если небо хмурится, все вокруг враждебно и неприветливо, и мы едем грустные и злые.

Иногда нам кажется, что небо — это самое главное в нашем путешествии, что мы едем не столько по земле, сколько под небом. Мы проехали разные страны: желтые страны песка и зеленые страны тайги, белые страны горных вершин и голубые страны воды, а небо над ними одно. Мы встречали разных людей. Одни из них никогда не видели леса, другие — гор, третьи — моря, а небо видели все. И все они были нам как братья, потому что все мы сыновья одного неба.

Нам неловко перед тобой, читатель, что мы ничего не можем рассказать ни об Украине, ни о Белоруссии, ни о Литве, Латвии и Эстонии. Мы видели их через мутную сетку дождя, и города их, и села, и поля, и горы свеклы около сахарных заводов, и вереницы машин, груженных картошкой, и новостройки, и заводы.

В сером мокром тумане промелькнули мимо нас грандиозные здания Минска, готические силуэты Вильнюса, гордая женская фигура над Ригой и важные медлительные голуби на узких улицах Таллина.

С каждым днем становилось все холоднее. Однажды, проснувшись в какой-то маленькой белорусской деревне, мы увидели, что поля кругом побелели, и крыши тоже, и наши мотоциклы припудрены инеем.

У нас было байковое одеяло, старое верное жел-

тое одеяло, которое не раз служило нам во время ночлегов. Мы разрезали его и поделили поровну. Один сделал из своей части одеяла капюшон, другой накинул на плечи, как шаль, а третий закутался, как в римскую тогу.

Пожалуй, самым трудным днем нашего путешествия был последний. Мы выехали из Пярну в шесть утра с решением во что бы то ни стало ночевать у же дома. Весь день шел дождь. С Балтийского моря дул холодный порывистый ветер. За Таллином отвалился щиток переднего колеса. В Кохтла-Ярве порвался тросик заднего тормоза. Перед Нарвой сломалось крепление руля. Ремонтировались под дождем, наспех, с одной мыслью: лишь бы как-нибудь доехать!

Когда стемнело, обнаружили, что отказал генератор и фара почти не светит. Ночь была темная, дождь усилился, шквальный ветер больно хлестал по лицу тяжелыми дождевыми каплями. Ехали, как слепые. Мокрые и окоченевшие. Встречные машины возникали внезапно, яркий свет фар слепил глаза, и тогда казалось, что мотоцикл несется куда-то в лес или под колеса машины. А потом мрак становился все гуще, и мы ехали наугад по едва различимому коридору между двумя стенами леса.

Несколько раз чуть не налетели на прохожих, чудом вывернулись из-под колес автобуса, едва не сбили Алексея Ковалева. И тут возник страх. Ведь нередко так бывает, что именно в последний момент, почти у цели, случается несчастье.

И раньше нам не раз бывало страшно: когда дорога вела по узкому карнизу над пропастью или мы мчались со скоростью 80 километров в час, иногда неожиданно появлялась мысль: а что, если вдруг отвалится колесо или резко заклинит мотор?.. И хотя мы знали, что этого не должно произойти, но страх все увеличивался, и уже невозможно было вести мотоцикл. Тогда мы останавливались, закуривали, а через пять минут снова ехали уверенно и весело.

Но теперь мы слишком продрогли и промокли,

чтобы останавливаться. Хотелось как можно скорее оказаться в теплой комнате, дома, снять с себя тяжелую, набухшую водой одежду, выпить горячего чая и знать, что завтра никуда больше ехать не надо. А страх становился все сильнее. Даже появилась уверенность, что несемся навстречу беде. И как бы в подтверждение этой уверенности все чаще внезапно возникали во мраке перед самым колесом мотоцикла то прохожий, то велосипедист, то телега.

Уже за полночь увидели зарево. Зарево над Ленинградом. Оно разгоралось, ширилось, оно захватило полнеба. Вот уже впереди цепочка огней, вереницы огней, островки огней. Они сливаются, и весь горизонт блещет, будто приветствуя наше возвращение.

Первый дом. Первая улица. Первый житель Ленинграда. Нам хочется обнять его. Мы смеемся. Мы пожимаем друг другу руки.

Все-таки, говоря откровенно, как хорошо, что даже самому интересному путешествию приходит конец.

Конец? И завтра не надо будет больше искать ночлега, считать километры, спешить домой?.. Конец?.. А может быть, только начало?

Чего начало?

А всего. Впереди свадьба. Впереди новые дороги. Много разных дорог. И разных поворотов. И мы опять будем верить, что за каждым поворотом нас ждет что-то самое важное и интересное. А если там ничего интересного не окажется, тоже не беда — значит, самое важное и интересное ждет нас за следующим поворотом.

ПОСТСКРИПТУМ

Мы путешествовали четыре месяца, а эту книгу писали год.

За год многое изменилось. На Волго-Балте уже построены большие шлюзы. Пиама Прокопьевна Парай вышла на пенсию, через горные кручи Тянь-Шаня

идут автомашины, Усть-Бухтарминская ГЭС дала первый ток.

Алексей Ковалев теперь работает в Ярославском радиокомитете, а младшая сестренка живет в Ленинграде. Недавно молодожены получили комнату и повесили на стену мятую, выцветшую карту Советского Союза. И от этой карты их комната всегда наполнена светом, пространством и приключениями.

ОБ АВТОРАХ

Давид Яковлевич Дар родился в 1910 году в Ленинграде. После окончания восьми классов средней школы несколько лет работал слесарем на заводе.

В 1929 году Д. Я. Дар переходит на журналистскую работу — сначала сотрудничает в свердловской комсомольской газете «На смену», потом в газетах «Красная Карелия» (Петрозаводск), «Крестьянская правда» (Ленинград), «Гудок» (Москва), в ленинградской комсомольской газете «Смена».

В ноябре 1941 года, участвуя в боях на Ленинградском фронте в качестве командира взвода отдельного разведывательного батальона, Д. Я. Дар был тяжело ранен и после долгого лечения в госпитале снова вернулся к журналистской работе.

В 1941 году вышла в свет его первая повесть — антифашистский памфлет «Господин Гориллус». Это была одна из немногих книг, изданных в Ленинграде в тяжелые дни блокады. В 1944 году был издан сборник военных рассказов «Рассказы о боевых друзьях».

После войны Д. Я. Даром написана повесть о К. Э. Циолковском (выпущена издательством «Советский писатель» в 1948 г.) и повесть «Камень на камень — очерк одного характера» (издана Лениздатом в 1959 г.).

С 1948 по 1960 год Д. Я. Дар руководил литературно-творческим коллективом ленинградских трудовых резервов «Голос юности».

Алексей Михайлович Ельянов (Емельянов) родился в 1936 году в Ленинграде. С пяти лет он воспитывался в детских домах на Урале и в Сибири. После войны, вернувшись в Ленинград, поступил в ремесленное училище. Получив специальность слесаря-механика, работал на заводе, а потом продолжал свое образование в Ленинградском индустриальном техникуме трудовых резервов. Окончив этот техникум, стал мастером производственного обучения.

С пятнадцати лет А. М. Ельянов — член литературно-творческого коллектива ленинградских трудовых резервов «Голос

юности», а с 1960 года — руководитель этого коллектива. Еще учась в ремесленном училище, он часто выступает со своими стихами в клубах, домах культуры, по радио, в 1953 году принимает участие в пятом Всесоюзном смотре художественной самодельности трудовых резервов, который проходил в Москве.

Стихи и рассказы А. М. Ельянова печатались в газетах и сборниках.

Д. Я. Даром и А. М. Ельяновым совместно написана книга «10 000 километров на велосипедах», которая вышла в Лениздате в 1960 году. Эта книга в переработанном виде вошла в настоящее издание.

СОДЕРЖАНИЕ

Третье путешествие	3
------------------------------	---

На счетчиках — шесть тысяч километров

Кто мы такие	7
Как мы подружились	8
Старший становится моложе	10
Маленькое ребристое чудовище	13
Легенда о Прибылом	15
Наши смешные «козлики»	18
Под дождем, под брезентом и под инспектором ГАИ	19
В гостях у Прибылого	24
На счетчиках — шесть тысяч километров	26

Почему не бьют лебедей

Мы отправляемся в новое путешествие	37
Не мешайте людям быть добрыми!	39
Очки	41
Сфотографировать надо было всех	42
Валдайская возвышенность	44
Девушка, у которой болели зубы	44
Канитель и мишура	47
Мы отдыхаем на обочине дороги	49
Под койками спать не пришлось	50
Новое шоссе	53
Голуби и велосипеды	56
Бедняга Безупречный	57
Ворота, надписи, мальчишки	58
Привал на берегу Клязьмы	59
Сказка об Аленушке и братце Иванушке	60
Украшение города	61
Рубин, сапфир, александрит	64
Чувашия	67

Пушкин	68
Рычаги, колеса, зеркала	71
Листки из записной книжки	72
Куйбышевское «чудо»	77
Еще из записной книжки	79
Легенда о рубашке	81
Бугульма. Детство	83
День, вечер, ночь	92
За Кук-Карауком	96
Через тридцать лет	99
Мы чуть не наехали на город	101
Зарницы над стелью	102
У раскрытой кладовой	104
Хлеб	108
Нам хорошо на нашей планете	109
Без запасных жиклеров и коленок	113
Почему не бьют лебедей	114
Мы ищем бригаду Бахаева	117
Парень, которому все в жизни улыбается	123
Не обошлось без миражей	124
Сколько человеку нужно земли	126
Мы прощаемся с велосипедами	127

Золотой ключик

Впереди — двадцать тысяч километров	131
Мы выбираем попутчика	132
Первая остановка — в прошлом	136
Небо. Вода. Черемуха	139
Интимные признания младшего	142
События одного дня	147
К Белому озеру	152
Здравствуй, наш Дон Кихот Ярославский	153
Мы вспоминаем «Голос юности»	159
Золотой ключик	165
Говорит дорога	167
А это помнишь?	169
Художник на шоссе	171
А в паузах поет соловей	172
Зеленая рапсодия	173
Алексей Ковалев ищет истину	174
В Ижевске	176
На берегу Камы	182
Только люди...	186
Ископаемое чудовище	186
Вот это авария!	188
Еще одно признание младшего	189
Так ведут себя влюбленные мотоциклисты	192
Кунгур	192
Наши привалы	198

Мы заглядываем в будущее	201
В тайге	208
Рубцы войны	211
Садик в саду	212
В барабинских степях	213
Мы готовим небывалое блюдо	214
А дождь все идет	217
Наша дорожная карта	219
Письмо младшей сестренке	220
Встреча на Чуйском тракте	221
Испытание дождем	227
Мы мчимся через четырнадцать республик	237
Мы мчимся через четырнадцать республик (продолжение)	253
Спасибо вам, инспекторы ГАИ!	260
Возвращение в Ленинград	262
Постскриптум	265
Об авторах	267

*Дар Давид Яковлевич,
Ельянов (Емельянов) Алексей
Михайлович*

ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ...

М., «Молодая гвардия», 1962, 272 с.

Редакторы *Д. Кузнецов,
Г. Малинина*
Художник *В. Шульга*
Худож. редактор *Н. Печникова*
Техн. редактор *Е. Григорьева*

А04004. Подп. к печ. 10/IV 1962 г.
Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 8,5(13,94).
Уч.-изд. л. 12,8. Тираж 100 000 экз.
Заказ 2516. Цена 53 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.